

О КОНСЕРВАТИВНЫХ ЧЕРГАХ ИДЕОЛОГИИ „РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА“*

Термин „реальный социализм“ (или, реже, „существующий социализм“) утвердился в политическом словаре Запада с некоторым опозданием. Но в отличие от других усвоенных иностранными языками русских и советских терминов, таких как „царь“, „кнут“, „казак“, „совет“, „ударник“, „колхоз“, „самокритика“ или „гулаг“, термин „реальный социализм“ не принимается всерьез. В то время как никто не сомневается в определенности и „осозаемости“ произвольно выбранных мной других русских терминов, выражение „реальный социализм“ вызывает вполне обоснованное недоверие, связанное с его неопределенностью: оно относится к смутной и нелегко поддающейся опознанию области, лежащей где-то между реальностью и вымыслом.

Из-за этой неопределенности почитатели советского режима тщательно избегают употреблять термин „реальный социализм“. Они искренне полагают, что при определении социальной или политической системы Советского Союза и его сателлитов социализм не нуждается в эпитетах. Их нисколько не смущает, что термин этот был изобретен и распространен советскими правителями. На Западе выражение „реальный социализм“ употребляется исключительно критиками советской системы, которые помещают его в кавычки, чтобы иронично оградить себя от советской действительности. Кроме того, этот термин служит удобным предлогом для ироничных сравнений. Ничего не может быть легче словесной игры, в которой идеология „реального социализма“ противопоставляется реальности общества и его институтов, где социализма просто не существует. Есть, од-

нако, люди, которые не находят в этом ничего развлекательного. Они являются ярыми противниками любых форм социализма, невзирая на сопровождающие его эпитеты. Они с удовлетворением заявляют, что Брежнев, Суслов, Андропов и другие глашатаи идеологии „реального социализма“ совершенно правы: социализм, построенный в Советском Союзе и его сателлитах, является единственным возможным видом социализма. Даже предпринятая с добрыми намерениями попытка изобрести или учредить другой вид социализма неминуемо приведет к деспотизму, террору, гулагам и варварству. А посему не следует искушать судьбу. Противоположности сходятся: этот древний диалектический афоризм справедлив и сегодня. В обоих случаях социализм отождествляется с русской действительностью, и расхождения возникают только в оценке этой действительности.

Не соглашаясь ни с Брежневым, ни с его преемником, ни с Гусаком, я тем не менее полагаю, что термин „реальный социализм“ не следует игнорировать. Я убежден, что этот термин необходимо рассматривать как важный идеологический феномен, что он подлежит тщательному анализу, а его значение должно быть пояснено.. Не думаю, что выражение это возникло случайно. Оно говорит о существенном изменении марксизма-ленинизма советского образца. Особая важность этого изменения в том, что оно отражает трансформацию советской идеологии и ее функций в послехрущевский период. Часто забывают, что эпоха Брежнева вызвала глубокие изменения в психологии советской правящей элиты, которые повлекли за собой столь же глубокие преобразования марксизма-ленинизма. Это учение, обюрократившись, превратилось из революционной идеологии в консервативную, прячущуюся за псевдореволюционной терминологией. Выражаясь образно, можно сказать, что господство утопии, в той или иной степени характеризовавшее ленинские, сталинские и даже хрущевские времена, сменилось господством антиутопии, основанной на полном отказе от утопических элементов сталинского марксизма-ленинизма. Преобразование официальной идеологии и ее функций, обращение ее в ритуал, в литургический марксизм-ленинизм — все это отразилось в идеологической формуле, превозносящей „реальный социализм“. Доктрина „реального социализма“ выражает окончатель-

* По-французски эта работа напечатана в журнале *“Les Temps Modernes”*, июль–август 1985 г., Париж.

ный отказ от планов социальных преобразований. Отбросив никого не вдохновляющие идеи о „светлом” будущем, сторонники доктрины создают культиватус-кво, подразумевая возврат к „героическому” прошлому и решимость сохранить неподвижность нынешнего состояния.

Не думаю, что Брежнев был единственным создателем этой доктрины, хотя официальные панегирики провозглашают его теоретиком „реального социализма”. Идеологическая формула „реального социализма” является, скорее, коллективным созданием, отражающим умонастроение и психологию правящей бюрократической элиты. Доктрина эта отражает невосполнимую утрату динамики в советском обществе, его идеологический и политический склероз и все более заметное постепенное погружение в пассивное состояние застоя системы, как идейного, так и организационного. Но доктрина „реального социализма” не только отражает эти тенденции, она их восхваляет, превозносит до небес, идеализирует и превращает в добродетель. Она представляет их более ценными, чем воздушные замки,озводимые реформаторами в советском блоке или на Западе, которые верят в социализм со свободой, многопартийной системой и без гулагов. Идеология „реального социализма” отражает стремление правящей элитыувековечить существующий общественный и идеологический застой. Эта идеология порождена объективными социальными тенденциями, наблюдаемыми в странах советского блока, она стала одной из главных причин социальной инертности, препятствующей переменам и поддерживающей статус-кво.

Все сказанное выше обрисовывает мою позицию в общих чертах. Но я постараюсь не ограничиться общими рассуждениями, а привести ряд аргументов в поддержку своей точки зрения и опишу проблемы, вызванные принятием идеологии „реального социализма”. Я попытаюсь также проанализировать эту проблему, хотя и неполно, и, возможно, не в соответствии с жесткими требованиями социологов и дотошных советологов. Анализ этот определенно не придется по вкусу и кремленологам, ищущим разгадки проблем советского общества в кулуарах аппаратчиков, которые действуют на переднем плане политической сцены, вместо критического исследования общественного процесса.

Эта работа разочарует и ученых мужей, возлагающих надежды на мифического просвещенного реформатора, который учредит настоящий социализм как только придет к власти.¹ Не страдая избытком оптимизма, я тем не менее убежден, что трезвый взгляд на вещи принесет больше пользы делу социализма, чем неистребимые иллюзии и безответственные предсказания приближающегося „спасения”. Кроме того, я бы был бы счастливейшим человеком на свете, если бы оказался неправ, и реальность подтвердила бы прогнозы наивных псевдомарксистов.

Во избежание возможных недоразумений, перечислю заранее пределы данной работы:

1. Я не буду доказывать, что идеология „реального социализма” не имеет с критической теорией общества, разработанной Марксом, ничего общего, кроме сходной терминологии. Я также не буду сравнивать эту идеологию с идеями Ленина, хотя в этом случае легко заметить более близкое родство. Подобная работа не очень продуктивна, хотя могла бы быть полезной, особенно как упражнение в эрудиции. Я хотел бы лишь показать, что идеология „реального социализма” ведет происхождение не от Маркса и Ленина, а от „марксизма-ленинизма”, то есть от сталинизма, точнее, она идеологический продукт сталинского периода советской истории. Практически все поборники этой идеологии принадлежат к этому периоду. Основное отличие идеологии „реального социализма” от сталинизма или „классического” марксизма-ленинизма – в изменении структуры идеологических компонентов.

2. Я воздержусь от дискуссии о социальной природе режимов советского типа. Эта дискуссия, продолжающаяся с большей или меньшей интенсивностью с 1920 года, породила несколько теорий, независимых и противоречащих одна другой. На мой взгляд, эти теоретические разногласия сами по себе свидетельствуют о загадочности природы советского социального строя. Отдельные теории проясняют некоторые его аспекты, но ни одна не дает всестороннего объяснения. Наши знания об этом „историческом животном” скорее о том, чем оно не является, но мы мало знаем о том, что же оно собой представляет. Мы можем показать, что режим этот не таков, за какой он себя выдает. Совершенно очевидно, что в нем продолжают

существовать притеснение и эксплуатация, а расслоение общества вызывает вопиющее неравенство. Очень трудно, однако, дать точное определение социальной природы этого режима. Так, никому не удалось действительно выявить часть общества, являющуюся основой системы угнетения и эксплуатации. Книга Михаила Восленского скорее затуманила, чем прояснила эту проблему, поскольку автор отождествляет псевдоюридическую процедуру — правила, определяющие иерархию в руководящих органах Коммунистической партии и при назначении на посты в государственном и управленческом аппарате — с социологической категорией, т. е. с критериями социальной стратификации. После этой книги, несомненной заслугой которой является описание малоизвестного на Западе института „номенклатуры”, этот термин, к сожалению, стал использоваться как ответ на все возникающие вопросы, что мешает тщательному анализу фактов, представленных М. Восленским. Печально знаменитая „номенклатура” кадров является лишь одним из способов, которым правящая элита осуществляет контроль над обществом.

Видимо, трудность точного определения правящего слоя („класса”) в режимах советского типа, порождена изменчивостью этого слоя, основанной на его значительной мобильности как по вертикали, так и по горизонтали, а также его чисто функциональным характером.

Другая проблема, подлежащая исследованию, — возрождение элементов докапиталистических формаций. Феномен этот затрагивает общественные отношения, психологию и идеологию. Превалирующее при капитализме экономическое давление, эффективно принуждающее людей приспосабливаться к общественным отношениям, в режимах советского типа значительно ослаблено, оно сменилось изощренными неэкономическими формами принуждения (государственное принуждение; система объединений, охватывающая все сферы интеллектуальной деятельности; вездесущность блюстителей порядка; принудительный труд; идеологизация законности, вторжение идеологии в этику и т. д.). Все это напоминает феномены, характерные для феодального строя. Можно высмеивать передовые статьи в „Правде” и „Руде право”, которые из года в год призывают колхозников к началу сенокоса или уборки зерна, сахарной

свеклы, картофеля; можно рассматривать также эти статьи как формальное отправление бюрократической печати. Я, однако, считаю это неотъемлемым и необходимым фактором советской системы. С некоторым преувеличением можно предположить, что без постоянных призывов властей не было бы ни сенокоса, ни уборки урожая, а сахарная свекла и картофель сгнили бы в земле.

Невозможно игнорировать превращение идеологии в обряд, влияние созданных режимом новых мифов, традиционность „социалистических” празднеств и церемоний, где прошлое властвует над настоящим.

Существует, таким образом, противоречие. Хронологически советское общество является посткапиталистическим, и очевидно наличие современных элементов в его индустриальной и технической базе. Но в области идеологии, бюрократизированной массовой культуры и ритуалов, другими словами, — с точки зрения типологической, оно очень близко к докапиталистическим, „древним” обществам, как если бы революция, сдавшая его, отбросила его во времена, предшествующие завоеваниям Французской революции XIX века.

Но несмотря на этот „возврат к прошлому”, неприемлемо упрощенное объяснение этих феноменов в духе исторического детерминизма — отсталостью дореволюционной России, традициями царского абсолютизма и т. п. Революция решительно порвала с прошлым России, разрушила приверженность к традициям предков и, по крайней мере на первых порах вносila некоторые элементы современности в новый режим. Реакционность и „возврат к прошлому” — не наследие истории, а логическое развитие сталинской системы. Элементы „архаизма” в советском режиме — не просто пережитки прошлого, которые согласно марксистско-ленинской доктрине, будут искоренены путем просвещения народных масс. Напротив, элементы эти присущи данному социальному и политическому режиму, без них он не мог бы функционировать. Короче говоря, наличие „архаизмов” не должно заслонять радикально новую природу строя. Он не является ни социалистическим, ни капиталистическим, ни феодальным. Не является он также и государственным капитализмом, хотя в нем присутствуют некоторые элементы феодализма

и государственного капитализма. Его производственные отношения беспрецедентны, его общественные отношения совершенно оригинальны, его социальная структура, возродив элементы прошлого, подчинила их своим целям. Теории государственного капитализма или искаженного социализма не выходят за пределы тесных рамок вульгарного марксизма, его фаталистической и стерильной дилеммы: „или капитализм или социализм”, как если бы иной альтернативы не существовало. Но как раз эта третья (или, если угодно, четвертая, пятая) альтернатива и наблюдается в данном случае. Разрушив капитализм, русская революция произвела – в сталинскую эпоху – общество, которое нельзя назвать социалистическим. Я убежден, что это нечто новое, беспрецедентное в истории. Это единственный возможный продуктивный подход к историческому исследованию.

3. Укорененность идеологии „реального социализма” и выражавшей ее бюрократизированной массовой культуры неодинакова в странах советского блока. В Советском Союзе и в Болгарии идеологическое мракобесие охватывает все сферы общественной жизни, однако некоторые черты идеологии „реального социализма” отсутствуют в современной Польше и в Венгрии. К примеру, польские девушки не приносят перед свадьбой сноп пшеницы к памятнику Ленина, такую сцену там невозмож но даже представить себе. Поскольку поляки, в большинстве своем, непреклонно исповедуют католицизм, по окончании церемонии в ЗАГСе, они направляются освятить брачный союз в церковь. В искусстве „нормализованной” Чехословакии, несмотря на усилия лидеров Коммунистической партии, стереотипный соцреализм советского образца ограничивается произведениями о партии или о государстве. Отдав кесарю кесарево и внеся вклад в „дело” „социалистического реализма”, скульпторы и художники экспериментируют в духе „умеренного модернизма”.

Я не намерен отрицать важность исторических и культурных традиций, а также тот факт, что в некоторых странах режиму приходится идти на компромиссы с обществом, особенно когда он имеет дело с сильным сопротивлением или даже бунтарскими общественными движениями. Однако принцип запрета на все новое (*nihil novum*), лежащий в основе идеологии „реаль-

ного социализма”, применяется везде. Несмотря на некоторые различия в области культуры, он остается неизменным в области политической и общественной. Логика, присущая системе в целом и ее идеологии, отдает предпочтение (если только не встречает сопротивления общества) унификации, а не разнообразию. Эта укоренившаяся в системе тенденция усиливается экономической, демографической и военной инерцией Советского Союза. СССР николько не желает усваивать элементы многообразия, сохранившиеся в странах советской империи. С другой стороны, эти страны СССР приуждает воспринимать Советский Союз как образец и следовать за ним.

Происхождение термина „реальный социализм”

Насколько мне известно, термин „реальный социализм” появился, хотя и с некоторым опозданием, после подавления советскими войсками „пражской весны”. Во время „пражской весны” и даже в первые месяцы „нормализации”, московские идеологи и их прислужники в Праге, Берлине, Варшаве, Будапеште и Софии сосредоточили полемику на метафорическом термине „социализм с человеческим лицом”. Они утверждали, что социализм это „научный” термин, применяемый к четко определенной общественной формации, и он не нуждается в эпите. Они признавали возможность эпитета лишь для указания степени зрелости общественной системы, т. е. что говоря о социализме, следует различать „основы социализма”, „развитый социализм” и „зрелый социализм” – иного не дано.

Вскоре, однако, аппаратчики, определяющие идеологию, поняли, что не следует полностью отказываться от эпитетов. Желая дискредитировать социализм „с человеческим лицом”, представить его лишенной оснований иллюзией, они решили использовать прилагательное „реальный”. Этот термин был распространен в начале 70-х годов Михаилом Сусловым, главным распорядителем марксистско-ленинского лексикона; эквивалент Суслова в Праге Василь Биляк подхватил это выражение. Поскольку аппаратчики являются всего лишь попугаями, привыкшими бездумно повторять высказывания хозяев, термин „реальный социализм” был со скоростью света усвоен во всех странах

советского блока. Сфабриковав термин, необходимо было разработать обозначаемую им „концепцию”. Задача эта была возложена на аппаратчиков, работающих в идеологическом секторе. Они ломали головы, пытаясь понять, что их хозяева хотели выразить этим странным неологизмом марксистско-ленинского лексикона. Обратившись к „классикам”, они выбрали несколько цитат. Например, в „Немецкой идеологии” Карла Маркса говорится, что коммунизм – это не воображаемый, но реальный исторический процесс.

Вскоре после первых теоретических статей, стали выходить брошюры и даже книги о „реальном социализме”.² В декабре 1978 г. по указанию Москвы была созвана специальная конференция в Софии, на которой посланец Суслова В. Н. Пономарев, кандидат в члены Политбюро и секретарь Центрального Комитета КПСС, обратился к генеральным секретарям и секретарям центральных комитетов „братьских” партий, отвечающим за идеологию, с речью о „реальном социализме” и его международном значении. Таким образом термин и представляемая им идеология были официально освящены.

Сталинистам и их идеологическим помощникам было не впервые изобретать новую формулировку для подобных целей. Это не раз происходило в истории сталинизма. Приведу малоизвестный, но наглядный пример.

Советский философ Ф. В. Константинов, член Академии наук и один из создателей официального лексикона диалектического материализма, в 1957 г. прибыл в Прагу. Философские труды этого известного апологета сталинизма – всего лишь глава о роли масс и личности в истории, которую он неизменно вставлял в каждый учебник диалектического и исторического материализма. Будучи диалектиком сталинской выучки, он в зависимости от ситуации выделял то массы, то великую личность как решающий фактор исторических событий. Константинов выступил с импровизированным докладом. Он рассказал слушателям (среди которых был и я) о влиянии „культы личности” на советскую философию. Константинов с негодованием говорил о попытках реабилитировать советского философа А. М. Деборина, главу „диалектической школы”, заклейменной в начале 30-х годов как зараженной „меньшевистским идеализмом”.

В те далекие времена Ф. В. Константинов был студентом Института красной профессуры и членом комитета партийской этого рассадника профессоров марксизма-ленинизма. Комитет, в который входили будущие сталинские „философы” (М. Б. Митин, П. Ф. Юдин и др.) критиковал профессора Деборина, бывшего ученика Плеханова, за отсутствие партийного духа, за формализм, склонность к абстракциям и расхождение между теорией и практикой. Поскольку прилежные студенты, поддерживаемые партийным аппаратом, не могли разобраться в учении их профессора философии, они обратились к Сталину за теоретическим советом. Согласно Ф. В. Константинову, Сталин их принял и провел с ними полчаса. Попыхивая трубкой, он внимательно выслушал жалобщиков, а затем, внезапно прервав их и не тряся лишних слов, сказал, что они крайне некомпетентны. Вместо того чтобы искать цитаты в работах Ленина, сказал Stalin, они должны изобразить Деборина как поборника „меньшевистского идеализма”. На этом он распрощался с ними.

Злополучные студенты диалектического материализма были крайне озадачены. Они ничего не понимали. Термин Сталина, услышанный ими впервые, ничего им не говорил. Неделями они трудились и дискутировали, пытаясь „расшифровать” этот термин. И им это удалось. Они нашли философское родство между Дебориным и Плехановым. Интерпретация диалектического материализма, предложенная Дебориным, предстала повторением смертного греха меньшевизма и Второго Интернационала – расхождения теории с практикой. Ученики Деборина выступили со статьями, в которых критиковали его как „меньшевистского идеалиста”, одновременно превознося Сталина как крупнейшего философа марксизма-ленинизма и воплощение единства философии и революционной практики.

Я пересказал столь пространно воспоминание старого сталиниста, потому что оно наглядно показывает, как создаются идеологические концепции в обществе советского типа. Объяснить термин „меньшевистский идеализм” и дать его определение самому Сталину было бы так же трудно, как его ученикам, а возможно, еще труднее. Ничего не зная о философских трудах Деборина, он был убежден, однако, что тот является препятствием на пути к идеологическому единству. Поэтому он придумал

слово, негативно характеризующее Деборина. Его подчиненным предстояло вскрыть истинное значение этого слова и разработать его определение, „концепцию”.

Точно так же советские лидеры, опасаясь влияния „пражской весны” на международное коммунистическое движение, искали эффективный способ остановить попытки реформации установленного порядка и придумали термин, лишенный четкого смысла. После введения в обращение коллективными и анонимными усилиями он был превращен в идеологическую формулу, призванную противостоять прогрессу. Правящая верхушка разрабатывает сегодня идеологию марксизма-ленинизма методом проб и ошибок. Изменения в лексиконе вызывают изменения доктрины. Однако пытаться интерпретировать доктрину — дело довольно опасное. Слишком смелые ее интерпретаторы могут быть наказаны и заклеймены как уклонисты. Поэтому они действуют с предельной осторожностью и производят целый ряд интерпретаций, мало отличимых одна от другой. Затем верховные правители делают выбор. Так, методом проб и ошибок, основанный на pragматическом чутье выбор правителей из сверхосторожных трудов идеологических подхалимов приводит к появлению новой идеологической формулировки. Примерно таким путем родилась и идеология „реального социализма”.

Функции идеологии „реального социализма”

Если попробовать приписать Брежневу, Андропову и их соратникам качества, присущие философам, то можно заметить, что формулировка „реальный социализм” основана на отождествлении понятий „реальный” и „существующий”, а также „сущность” и „существование”. Перефразируя знаменитое положение из предисловия к „Принципам философии закона”, глашающее, что „все, что рационально — реально, и все, что реально — рационально”, глашатай идеологии „реального социализма” может сказать, что в Советском Союзе и в странах его империи все, что является социалистическим, — реально, и все, что реально, — является социалистическим.

Поскольку диалектическая и двусмысленная формулировка Гегеля основана на предпосылках, важным элементом

которых является различие между „реальностью” и „существованием”, эта формулировка подвергалась взаимоисключающим интерпретациям, как революционным, так и консервативным. Если идеологическая формулировка „реального социализма” и имеет некое сходство с этой идеей Гегеля, то совершенно очевидно, что она близка к интерпретации „правых” гегелианцев, которые стремились использовать ее для прославления и оправдания абсолютизма, освящения установленного режима — полицейского государства, реакции и цензуры.

Советские идеологи довели отождествление „рационального”, „реального” и „существующего” до предела, граничащего с абсурдом. Все различия между этими терминами были „ликвидированы”, поэтому идентичность их абсолютно статична, лишена внутреннего напряжения и, следовательно, непродуктивна и стерильна. Идентичность эта лежит в области заданного, т. е. является сиюминутной. Оставаясь неизменной, она меняется по мере изменений в сиюминутном: любое решение, принятое правящей верхушкой, является идеальным воплощением социализма.

Сталинские процессы и казни невинных жертв были настолько же „социалистическими”, насколько и их последующая реабилитация. Это прекрасно понимал высокопоставленный чехословацкий чиновник, который в 1969 году, после массовых демонстраций протesta по поводу первой годовщины советского вторжения, настаивал, чтобы Дубcek подписал декрет об особых полномочиях полиции. Когда сомневающийся Дубcek возразил, что нельзя начинать новую волну „нарушений социалистической законности”, „поскольку даже не закончена реабилитация жертв сталинского террора 50-х годов”, чиновник ответил: „Подписывайте, не бойтесь: жертвы новых несправедливостей будут со временем реабилитированы, если это понадобится”. Совершенно очевидно, что собеседник Дубчека лучше понимал жесткую логику метаморфоз сиюминутного „реального социализма”. Дубcek, кстати, в конце концов подписал этот декрет, хотя мог все-таки отказаться сделать это. Несмотря на отклонения от логики „реального социализма”, она была ему не чужда.

Идеологи „реального социализма” извлекли существенную

выгоду из отождествления „реального социализма” с сиюминутным. Во-первых, они избавились от ограничений более или менее последовательной теории, даже если эта последовательность, да и сама теория были бы фальшивыми. Вместо теоретирования теперь достаточно увидеть, указать пальцем и назвать.³ Брежnevу не стоило труда стать „теоретиком”, опубликовав воспоминания о войне, освоении целины в Казахстане и о других событиях, в которых он принимал участие, — воспоминания, написанные на уровне посредственной журналистики пропагандистской прессы, где беспорядочные описания заменяют систематическую доктрину — идеолог подменяется репортером. Даже впечатления от туристической поездки достаточны для восполнения отсутствующей социологической аргументации. Зававны ответы защитника „реального социализма” Василя Биляка критикам по поводу разрыва между идеями Маркса о социализме и странами, его представляющими:⁴ „Приезжайте в нашу страну и вы увидите веселых, улыбающихся, хорошо одетых людей, а не рабов в цепях!”. Получается, что улыбка, веселье и одежда изобретены им или нынешним режимом.

Кроме того, фетишизм сиюминутного сделал возможным смягчение репрессий по сравнению со сталинским периодом. Поскольку все существующее является по определению социалистическим и, следовательно, рациональным, то любая акция против режима или критическая идея — это либо проявление иррациональности,⁵ социальный или идеологический уклонизм, либо, в лучшем случае, — утопия. К какой из этих категорий отнести нонконформистские акции или идеи, зависит только от обстоятельств, а также от общественного положения „мятежников”. Рядовые граждане рискуют попасть в категорию психически больных, страдающих „манией реформ”; их также могут назвать социальными эксцентриками или носителями пережитков капитализма, иными словами, аморальными личностями или даже преступниками. Не слишком влиятельный лидер какой-либо „братьской” партии будет обвинен в идеологическом уклонизме, в то время как представитель сильной коммунистической партии, упрочившейся в обществе, будет, как и Энрико Берлингуэр, скорее всего, назван запутавшимся утопистом.

Таким образом, идеология „реального социализма” имеет

две функции: позитивную и негативную (для полемики).

Позитивная функция призвана оправдать установленную систему, потерявшую внутренний динамизм, и поддерживать ее в состоянии неподвижности, утверждая невозможность каких бы то ни было изменений, сколь бы необходимыми и неотложными они ни представлялись.

Под влиянием этой идеологии все имевшиеся возможности изменить какой-либо фундаментальный аспект режима были упущены. Работа над новой советской конституцией, продолжавшаяся двадцать лет напоминает пресловутую гору, родившую мышь. Новая конституция, обнародованная в 1977 г., это копия сталинской конституции 1936 г. Заметно, что она еще более расширила полномочия государства. Перечень прав и свобод граждан является, с одной стороны, чисто идеологической декларацией, а с другой, — набором трюизмов (право на отдых, право на жилище, право пользоваться достижениями культуры, право участвовать во всенародных обсуждениях и т. д.). За исключением этих пунктов, новая конституция не вносит ничего нового в советскую общественную и политическую систему. Она является типичным выражением государственной неподвижности.⁶

Даже не слишком смелые планы изменений в управлении экономикой были быстро заброшены или захлебнулись в бюрократической машине, лишившись какого бы то ни было содержания и смысла. Планы реформы, часто обсуждающиеся в различных кругах и вызывающие необоснованные надежды у кремлевских политиков, кладутся на полку, предварительно вызвав эфемерные слухи о приближающейся значительной перемене. Создается впечатление, что советское правительство следует наказу графа Коловрата, министра императора Австрии Франца I в период Священного Союза: „Любой план реформы нужно убрать в нижний ящик стола и держать его там, пока он не согнет и не станет совершенно ненужным”. Время от времени экспертам поручается работа над проектами, которые, будучи разработаны и завершены, тщательно запираются в кремлевские сейфы и хранятся как государственные секреты.

Вместо реформ предпринимаются попытки незначительного „усовершенствования” общественных институтов, бюрократические перестановки бюрократических органов. Официальная

цель этих мер заключается в „полном выявлении потенциала развитого социализма и применении его на практике”. Совершенно очевидно, что при этом исходят из бесполезности более глубоких и радикальных перемен, и получается, что меры эти граничат с абсурдом: предполагается, что общество, задыхающееся от разросшегося государственного контроля, будет выведено из оцепенения посредством более сильных доз того же государственно-контроля. Красноречивый пример подобной бюрократической процедуры – учрежденное в СССР несколько лет назад Министерство садоводства, которое было призвано искоренить хроническую и хорошо известную нехватку овощей и фруктов. Постоянная реорганизация, разделение и слияние существующих министерств и создание новых, заменяет подлинные реформы и предназначено для создания абсолютно ложного впечатления какого-то движения. Чем лихорадочнее реорганизуются бюрократические учреждения, тем более неизменными остаются общественные отношения.

Реорганизации, направленные на усиление государственного контроля, сопровождаются фальшивыми постановлениями, триумфально восхваляющими упрочнение „социалистической демократии”. Яркий пример этого – недавно изданный в Москве законопроект о рабочих коллективах. Законопроект, на бумаге дающий фабричным рабочим многочисленные права, на деле не предоставляет ни одного. Рабочим дозволяются лишь собрания для одобрения предложений начальства и партийного комитета, а также для обсуждения мер по расширению социалистического соревнования, усилению трудовой дисциплины и повышению производительности труда.

Психология самодовольства и боязни перемен привела к исключению термина „реформа” из политического лексикона. Такое поведение напоминает заклинания колдунов: ни в коем случае не упоминать имени злого духа, чтобы не вызывать его появления. В „нормализованной” Чехословакии меры по повышению эффективности контролируемого государством управления экономикой, сформулированы так, чтобы их нельзя было даже ассоциировать с реформами. Само официальное название – „Комплекс мер по улучшению планового управления национальной экономикой после 1980 года” – пример чудовищного

бюрократического жаргона, хитроумный прием утаивания даже чисто бюрократических и технических перемен и косвенное заявление, что эти меры не имеют ничего общего с реформой.

Негативная (полемическая) функция идеологии „реального социализма” настолько очевидна, что не имеет смысла вдаваться в ее детали. Ее цель с одной стороны, в подавлении, а с другой, в предвосхищении. Идеология „реального социализма” лежит в основе анафем и проклятий, которыми осыпают идеологов-еретиков, пытающихся по-иному интерпретировать коммунизм. Противники идеологии „реального социализма” – югославский самоуправляемый социализм, китайская (маоистская) и европейская (еврокоммунистическая) ветви марксизма-ленинизма. Направления эти квалифицируются как псевдо-социалистические или утопические. Полемика с ними то разгорается с необычайной силой, то затихает, но совершенно очевидно, что идеология „реального социализма” всегда в основе своей враждебна любым другим течениям социалистической и даже коммунистической идеологии. Советские правители идут на перемирие с идеологическим противником только по pragmatischen или тактическим соображениям.

Однако главный враг идеологии „реального социализма” находится как раз в тех странах, где она является правящей. Это – угроза демократических реформ, на которых настаивает просвещенная часть правящей партии и независимое общественное движение. Не случайно идеология „реального социализма” была сформулирована сразу после военной интервенции против „пражской весны”. Она добавила идеологические методы „нормализации” к ее основному средству – грубой силе. Правящая верхушка стран советского блока, напуганная угрозой реформ и демократических движений, пыталась предотвратить их, укрепить единство хотя бы собственных рядов и в корне задушить всяющую идею перемен.

Однако вскоре обнаружилось, что эффективность этого идеологического заграждения не является неограниченной. Оно перестает действовать как только возникает независимое общественное движение, как это случилось в Польше, – движение, которое намеренно игнорирует официальную идеологию и не пытается по-новому ее интерпретировать. Однако идеология эта,

по всей вероятности, привила странам советского блока иммунитет против реформаторских идей, который они сохранят если не навсегда, то очень надолго. Я не утверждаю, конечно, что эта идеология явилась главной причиной политического и общественного склероза. Наоборот, она вызвана этим склерозом и является его выражением. Однако идеология „реального социализма“ играет важную роль в сохранении неподвижности советского общества. Эта идеология превращает неподвижность в хроническое заболевание и добавляет к неподвижности общественных отношений и институтов умственную неподвижность.

Застой, наблюдаемый в советском обществе с конца хрущевского периода, не означает, что в СССР не происходит никаких перемен. Даже в наиболее статичных режимах, известных истории, происходили перемены власти, династии сменяли одна другую, империи расширялись или уменьшались в размерах, войны чередовались с мирным временем. В советской империи тоже произошло много событий и еще больше псевдособытий. Но события эти, как правило, не приносят ничего нового, а перемены являются не качественными, а исключительно количественными. Можно даже сказать, что закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные перестал действовать. Так, произошли перемены в области технологии, продолжает развиваться система образования, повышается производительность труда, очевидна урбанизация населения. Кроме того, проводятся через определенные промежутки времени партийные съезды, умирают члены Политбюро, и их места занимают такие же дряхлые, не далекие от могилы преемники. Но не происходит никаких основополагающих изменений в общественных и политических отношениях. Они остаются совершенно статичными. Общественные отношения и институты не изменились со сталинских времен. В эру Брежнева в этой области не было не только прогресса, но и регресса: общественные отношения не выходят из замкнутого круга, т. е., другими словами, топчутся на месте.

Я полагаю, что надежды, возлагаемые некоторыми социологами на прогресс урбанизации, не имеют под собой основания. Во-первых, советский режим установился и в странах, где уровень урбанизации был очень высок и сильно превышал совет-

кий (Чехословакия, ГДР). Во-вторых, урбанизация не ведет автоматически к желаемой трансформации режима. Раздробленная и аморфная масса крестьянского населения перемещается в индустриальные центры, но продолжает влечь там аморфное существование массы городского населения. Горожане еще более раздроблены, чем крестьяне, ибо личность в городе еще более изолирована, чем в деревне. Даже после насаждения колхозов в деревне сохранились остатки существовавших ранее внутригрупповых отношений, например соседских или семейных отношений. Урбанизацию советского типа нельзя отождествлять с урбанизмом в Западной Европе, который развивался медленнее и организованнее. На Западе личность, выкорчеванная из традиционных первичных групп, быстро включалась в формально структурированные вторичные группы, т. е. в объединения и профсоюзы, составляющие основу ткани современного цивилизованного общества. Вступление в объединения или организации позволяет оторванной от корней личности выйти из изоляции и одиночества. Поскольку независимые объединения или организации в условиях „реального социализма“ невозможны, а официальные организации суть не что иное, как агенты государственной власти, городские массы остаются крайне раздробленными. Если независимое цивилизованное общество не будет восстановлено (а свобода объединений и организаций является необходимым тому условием и должна быть отвоевана), урбанизация сама по себе не вызовет качественных изменений.⁷

Еще одно наблюдение относительно урбанизации. Уповая на урбанизацию как на гарантию будущих демократических перемен, следует помнить, что многие события русской истории объясняли удельным весом крестьянства. Цари оправдывали самодержавие аграрным и отсталым характером империи.⁸ Возникновение и развитие сталинизма тоже объясняли влиянием крестьян, в то время как никто не осмелился искать корни гитлеровского национал-социализма в немецком крестьянстве. В трактовках, прямо или косвенно вдохновленных марксизмом-ленинизмом, русское крестьянство всегда изображается как незрелый класс и козел отпущения. На протяжении веков с русским крестьянином обращались как с парией истории.

Сразу же после отмены крепостного права он снова попал в рабство, не успев освободиться и начать играть созидающую роль в жизни народа. На этот социальный класс с трагической судьбой и до сих пор смотрят сверху вниз. В исторических документах и социологических отчетах крестьянство всегда представляют помехой на пути прогресса и пережитком прошлого, до сих пор не абсорбированным благотворной урбанизацией. Я не нахожусь под влиянием народнической идеологии, но все же считаю, что демократические перемены зависят от пробуждения не только города, но и деревни.

Еще более нелепой представляется нам надежда, что западная технология окажет магическое действие на общественные и политические отношения в советском блоке. По мнению некоторых западных советологов и политиков, достаточно расширить торговлю с Советским Союзом, а остальное приложится автоматически. Они утверждают, что вместе с передовой западной технологией СССР будет импортировать западные обычай и идеи, а это в один прекрасный день приведет к социальным и политическим переменам, к европеизации и демократизации.⁹

Эта идея отдает механистическим детерминизмом марксизма-ленинизма, хотя ее сторонники весьма далеки от этой идеологии. Нельзя ожидать, что передовая технология сама по себе преобразует политические или социальные институты. Массовый импорт американской технологии в период первой пятилетки не предотвратил торжества сталинского деспотизма. Техническая модернизация вполне совместима с антидемократическим политическим режимом. Так, например, гитлеровский режим организовывал концентрационные лагеря и одновременно с этим строил современные шоссейные дороги и закладывал основы космической техники. Западная технология экспортируется и в страны третьего мира, но и здесь она не оказывает революционирующего влияния на социальные структуры. Напротив, традиционные структуры и существующие институты используют передовую технологию в собственных целях, превращая ее в средство сохранения установившегося порядка.

Не надеясь, что западная технология изменит социальный и политический климат в странах „реального социализма“, я в то же время отвергаю непримиримость и экономический бой-

кот, рекомендуемый сторонниками жесткого курса в политике и некоторыми, особенно русскими, эмигрантами. Я не верю, что бойкотирование торговли может привести к капитуляции правящего класса Советского Союза и вынудит его пойти на демократические реформы. Бойкот может создать определенные трудности для СССР, замедлить его технический прогресс, но не остановит его. Запад не имеет монополии на технические новшества. Даже если хранить некоторые изобретения в секрете, ничто не может помешать советским ученым в конечном счете сделать их самим. Ведь это не выходит за пределы способностей человеческого разума. Раз открытие или изобретение сделано, значит, существовали условия для его реализации. Ученые часто делают открытия или изобретения почти одновременно и независимо друг от друга. Тем более это можно сделать позднее, сосредоточив на выполнении задачи необходимые средства и силы. Конечно, социальный и политический застой сдерживает научно-техническое творчество в странах „реального социализма“. Несмотря на успехи в развитии военной техники, СССР не является лидером научного или технического прогресса. Но поскольку существуют прочие необходимые условия, Советскому Союзу достаточно следовать по пятам за наиболее развитыми в научно-техническом отношении странами, чтобы оставаться сверхдержавой.

Потеря первоначального динамиза

Невозможно отрицать мощный динамизм начального периода русской революции, сверху донизу изменившей общественные и политические отношения. Революция смела все институты старого режима. Радикально изменились имущественные отношения. Целые социальные классы – дворяне и капиталисты – исчезли с исторической арены. С дерзкой верой в утопический золотой век революция переплавила все юридические институты и все компоненты законодательства – уголовное, гражданское, семейное и трудовое право. Столь же энергично происходила перекройка образа жизни и быта.

Этот дух утопии о золотом веке овладел не только поддерживающими революцию интеллигентами, но и теми, на ко-

го Ленин и другие политические руководители посматривали со снисходительным недоверием. О первых годах советской власти действительно можно говорить как об утопии в действии. Вожди революции верили, что новое совершенное общество не за горами. Даже осуждая некоторые аспекты этого процесса, например, эксцессы террора или слепую веру большевиков во всемогущество революционного декрета, невозможно отказать им в твердой решимости радикально изменить жизнь и не признать новаторский дух и огромную энергию, высвобожденную революцией.

В большевистской доктрине той эпохи легко различить утопические и даже хилястические элементы. Книга Ленина „Государство и революция“ была тогда чем-то вроде Священного Писания, и члены партии верили, что они создают предсказанное им общество, где не будет принуждения и произойдет отмирание государства. Ни у кого не вызывало насмешливой улыбки заявление вождя, что после полной победы социализма золото потеряет всякую ценность.¹⁰ Большевистская идеология, безусловно, носила революционный характер, а ее динамизм претворялся — часто в крайних своих проявлениях — в реальный динанизм нового общества.

Однако победоносный большевизм был крайне противоречивым явлением. С одной стороны, он высвободил энергию трудящихся классов и стимулировал смелые социальные эксперименты, с другой, — сдерживал динамизм нового общества авторитарными и даже деспотическими мерами, соответствовавшими ментальности большевиков. Ленинская интерпретация Марковой идеи диктатуры пролетариата¹¹ и отождествление ее с диктатурой коммунистической партии; запрещение всех других, в том числе и просоветских партий; отмена свободы печати, приручение профсоюзов, ликвидация фракций внутри партии и прочие мероприятия такого рода вымостили дорогу сталинскому деспотизму. Но несмотря на все это и вопреки чрезмерной инструментализации марксизма в ленинской интерпретации, большевизм в то время еще обладал всеми характерными чертами революционной идеологии. Он был нацелен на будущее, планировал перемены, отмечал прошлое и рассматривал настоящее как переходный период. Настоящее воспринималось в свете будущего, его постоянно оценивали с точки зрения будущего

и сравнивали с ним.

Даже сталинская эпоха еще была динамичной. Правда, она уже не черпала энергию из утопических надежд трудящихся классов и их спонтанной деятельности. Напротив, социальный динамизм сталинской эпохи был „искусственным“, он был навязан обществу сверху, по инициативе властей. Партия-государство мобилизовывала рабочий класс и крестьянство в качестве простых исполнителей своих проектов социальных преобразований. Таким способом сталинский режим осуществил две крупных перестройки: великую индустриальную революцию и вторую аграрную революцию.

В процессе этих крутых социальных перемен правящая идеология претерпела существенные метаморфозы. В рамках этой работы невозможно вдаваться в подробности, проделать сравнительный анализ или хотя бы перечислить признаки, отличающие сталинский марксизм-ленинизм от победоносного большевизма ленинских времен. Ограничусь несколькими примерами. Марксизм-ленинизм сталинского периода сохранил некоторые революционные черты, но при этом произошла бюрократизация его формы и содержания. Он приобрел ряд неоконсервативных черт, что придало ему некоторую противоречивость. Консерватизм, вызванный функцией укрепления установленного порядка, становится особенно заметным со второй половины 30-х годов, в период завершения принудительной коллективизации сельского хозяйства.¹²

Искусственный социальный динамизм, созданный сталинской бюрократией, отразился на идеологии марксизма-ленинизма и ее терминологии. Выражения из армейского лексикона времен гражданской войны — „авангард“, „борьба“, „битва“, „резервы“, „штаб“, „кадры“, „фронт“, „наступление“, „отряд“ и т. д. — постепенно пополнялись словечками из лексикона механика или строителя. Социальные и политические институты представлялись как составные части большой машины. Здесь фигурировали „силы“ („руководящая сила“ и „движущая сила“), „приводные ремни“, „рычаги управления“ или „приводные рычаги“.

Этот лексикон передает основную идею сталинского марксизма-ленинизма, в зародыше присутствовавшей в ленинской терминологии: строительство нового общества интерпре-

тируется как строительство дома. После сноса старого строения, рабочие, действующие по указанию мастера и по его проекту, закладывают фундамент нового социального сооружения, возводят его этаж за этажом и покрывают крышей, то есть увенчивают свое творение „надстройками”. Эта механистическая идея постоянно ощущается в идеологии „реального социализма”, но здесь она приобретает новые нюансы. В сталинскую эпоху люди знали, что по проекту Великого Зодчего строительство социального здания разбивается на три этапа (переходный период, социализм как низшая стадия коммунизма и высшая его стадия). Нынешние прорабы не знают, сколько этажей придется построить до возведения крыши. Построив социализм, они руководят теперь строительством „развитого”, „зрелого” социалистического общества. Если верить идеологам „реального социализма”, такое общество должно пройти несколько этапов, которые пока не поддаются точному определению. Однако уже известно, что переход от „реального социализма” к коммунизму будет гораздо сложнее, чем ожидалось.¹³ В итоге, строительство идеального и совершенного общества стало сильно напоминать вавилонское столпотворение – строительство ради строительства, возведение этажа за этажом до самых облаков.

Непроходимая пропасть отделяет эти выкладки сталинской идеологии от Маркса критического анализа социальных явлений. Невозможно представить себе что-либо более чуждое Марксу, чем такая механистическая идея. Он рассматривал рождение и формирование коммунистического общества как органический процесс. Именно поэтому в представлении Маркса социальная революция ассоциировалась с родами, а революционная партия осуществляла функции повивальной бабки. Зародышевые формы нового общества зреют в лоне общества капиталистического. Коммунистическое общество не строится по чертежу, а рождается. Революционная партия не насаждает свои проекты посредством насилия над обществом, а поддерживает ростки нового общества, выявляет его спонтанно сформировавшиеся элементы. Теория социальной революции, разработанная в общих чертах Карлом Марксом, заключается не в наборе стратегических и тактических правил и не в искусстве организации вооруженного восстания. Ее практическое назначение –

способствовать рождению нового общества.

В сталинский период движущей силой общества, источником его динамизма была партия-государство. Вторая революция (индустриализация и колективизация) была задумана, организована и совершена этой партией-государством и ее кадрами – партийной и государственной бюрократией. С самого начала фундаментом сталинского марксизма-ленинизма была концепция революции сверху. Первоначально эта концепция подспудно присутствовала в идеологических построениях, но к концу сталинского правления стала совершенно явной. В последних работах Сталин открыто включил ее в свою марксистско-ленинскую теорию.¹⁴ Это не было ни случайностью, ни попыткой задним числом интерпретировать свою политику принудительной коллективизации сельского хозяйства. Сталин включил эту концепцию в „теоретический арсенал“ марксизма-ленинизма, ибо нуждался в идеологическом обосновании задуманной и подготовливавшейся им новой „революции сверху“. Сталину было недосуг формулировать и провозглашать свои цели, но его намерения можно распознать, внимательно прочитав последние его работы, особенно „Экономические проблемы социализма в СССР“ и почти одновременно опубликованный план „преодоления противоречий между городом и деревней“ посредством строительства „агрогородов“. Главным глашатаем этой идеи, очевидно по заданию Сталина, стал Хрущев. Реорганизация и неожиданное омоложение партийных органов к XIX съезду, который состоялся осенью 1952 года, также раскрывали замысел Сталина – план новой революции сверху, нового наступления против общества, прежде всего против крестьянства. По мнению Сталина, это должно было ускорить переход от социализма к высшей стадии – к коммунизму. Если внимательно читать „Экономические проблемы социализма в СССР“, пытаясь распознать практические шаги за теоретическими рассуждениями, ясно проступают намерения Сталина. Речь шла о постепенном ограничении товарооборота между государственным промышленным сектором советской экономики и колхозами и замене его простым товарообменом. Такая мера должна была влить основные фонды и продукцию колхозов в общегосударственную плановую систему и стать „реальным и окончательным способом под-

нять колхозную собственность до уровня общенародной".¹⁵ Это означало абсолютный государственный контроль над колхозами, вторую экспроприацию крестьянства и укрепление системы принудительного труда в деревне. Сталину была невыносима мысль о малейшем ослаблении государственного контроля над крестьянством и, дабы сделать такой контроль полным и совершенным, он готовился к новой „революции сверху”.

Не пытаясь дать общую оценку деятельности Сталина, отметим, что в отличие от идеологов „реального социализма” он всегда считал построенное им общество незавершенным, переходным и, следовательно, несовершенным и не изменил своего мнения даже когда социально-политическая система, сохранившаяся с тех пор без каких-либо существенных изменений, была уже полностью разработана.

По мнению Сталина, избежать склероза можно только стремлением перейти от первой стадии социализма, этого отнюдь не светлого настоящего, вперед, к следующей стадии. Чтобы не впасть в застой, необходимо постоянно сопоставлять результаты своей экономической деятельности с объемом производства и производительности труда в экономически развитых странах капитала. Отсюда и лозунг „догнать и перегнать капиталистические страны”. Правда, логика сталинской идеологии ограничивала экономическое соревнование двух социальных систем показателями производства угля, нефти и стали. Хрущев сохранил этот лозунг, распространив его на масло, мясо и другие сельскохозяйственные продукты, а также на товары широкого потребления. Но после смещения Хрущева этот лозунг был снят и „забыт”.

Кроме того, Сталин стремился как можно скорее привести страну к высшей стадии коммунизма. В его представлении это означало полную гомогенизацию общества (естественно, за исключением партии и ее высших чиновников),¹⁶ устранение последней, более чем скромной возможности реставрации цивилизованного, гражданского общества (поднять колхозную собственность до уровня всенародной значило, другими словами, поставить колхозы под контроль государства) и чудовищное огосударствление общественных отношений, в которых еще оставались элементы частного и спонтанного (заменить товароо-

борот системой продуктообмена с тем, чтобы некий центральный орган власти или социально-экономический центр мог контролировать все общественное производство „в интересах общества”).¹⁷

Сталин прекрасно понимал, насколько огромна опасность склероза, распада и разложения. Больше того, он пытался более или менее регулярными импульсами будировать исчезающий социальный динамизм. Однако система, созданная под его руководством, была главной причиной тенденции к застою. Строительство сталинистской государственности сопровождалось разрушением последних остатков гражданского общества, которое и без того было в СССР весьма хрупким.

Разрушение этого гражданского общества осуществлялось в широких масштабах еще Лениным. Некоторые его элементы, однако, сохранились благодаря НЭПу. Но после „великого перелома” в 1929 году Stalin сокрушил все ассоциации, имевшиеся в советском обществе, которые он считал излишними и опасными. Он распустил Общество старых большевиков и последние объединения художников и писателей. Он не щадил даже Общество воинствующих марксистов-диалектиков, члены которого искренне разделяли его мировоззрение. Последней жертвой его страсти к тотальной и тоталитарной государственности стал Союз воинствующих безбожников, проводивший антирелигиозный террор в 1920-х и 1930-х годах. Хотя ячейки этого союза яро поддерживали начинания Сталина, они казались ему подозрительными, ибо членство в них было добровольным. Логика системы, приводящая все и вся к единому знаменителю, была терпима только к узаконенным государством объединениям, с принудительным членством, которые делили население по профессиональному признаку, наподобие купеческих гильдий, братств ремесленников в феодальном обществе или ассоциаций врачей и юристов в современном обществе. Союзы писателей, художников и скульпторов заменили прежние объединения. С одной стороны, эти союзы выполняли функции приводных ремней, инструментов политической, идеологической и творческой унификации (*Gleichschaltung*), с другой, – контролировали профессиональную деятельность и таким образом обеспечивали абсолютную лояльность своих членов.

Примитивная стандартизованная тоталитарная система, господствующая ныне во всех странах советского блока, существенно облегчила контроль сверху над всеми сферами общественной жизни, но она же нанесла огромный ущерб диалогу между режимом и обществом и социальной коммуникации в целом. Односторонность коммуникационных каналов, поток информации в одном направлении – сверху вниз – полностью подавил обратную связь. Чтобы знать настроение масс, режим вынужден был создать дорогостоящую и неэффективную систему внутреннего шпионажа, гигантскую сеть доносчиков и соглядатаев в системе политической полиции. Без этого режим оказался бы отрезанным от невыражаемого открыто общественного мнения.

Если оставить в стороне как совершенно абстрактную единственную возможность исцеления общества от инертности и застоя, а именно – демократические реформы или, по крайней мере, частичное восстановление независимого общества, у режима остается всего три инструмента для приведения общества в движение: террор; идеологическая индоктринация; тотальная и перманентная мобилизация населения.

Тerror выполнил несколько функций, которые можно подразделить на внешние, т. е. направленные на общество, и внутренние – нацеленные на правящую партию, т. е. на самих проводников террора. Кроме того, терроризирование общества стало мощным средством „воспитания”, укоренения нравов и ценностей режима в массах, способом подчинения их новым социальным нормам. Стойким последствием террора является нынешний конформизм советского общества. Внутрипартийный террор также принес свои плоды. Терроризированные террористы были чрезвычайно послушны и ревностны. Террор сделал бюрократию более однородной, более дисциплинированной, более эффективной. Больше того, он предотвращал ее окостенение, периодически обновляя ее состав и заменяя истощивших силы ветеранов свежими молодыми кадрами. Сталинский террор был кнутом, заставлявшим бюрократию шевелиться. Стегая общество, он заставлял его „выполнять и перевыполнять планы”. В конечном счете, террор стимулировал социальный динамизм сталинской эпохи. Наивно и ошибочно полагать, что сталинский террор был перегибом, обусловленным наклонностями извра-

щенной личности. Такие эксцессы, конечно, были, но в общем террор не выходил за пределы логики системы и был необходим для обновления ее весьма хрупкого внутреннего динамизма.¹⁸

Грубому физическому террору сопутствовала идеологическая обработка населения, насаждение марксистско-ленинского катехизиса и других форм интеллектуального и морального террора. В последние годы сталинского правления идеологические кампании сменяли одна другую. С помощью Жданова Stalin делал все возможное для укрепления господства марксистско-ленинской идеологии во всех сферах интеллектуальной деятельности, от поэзии и философии до биологии и химии. Как верховный и непогрешимый владыка новой атеистической церкви он регулярно впрыскивал омолаживающие эликсиры в склеротические вены догматической идеологии, непрекращающе провозглашая новые истины („Ответ товарищу Иванову”, „Ответ полковнику Разину”, „Марксизм и вопросы языкоизнания”, „Экономические проблемы социализма в СССР” и т. д.). Именно Stalin постоянно критиковал бесплодный догматизм порожденных режимом мелких чиновников идеологической службы. Таким образом был изобретен бюрократическо-динамический синтез догматизма и идеологического обновления. Подобно легендарной птице Феникс, бюрократический догматизм благодаря идеологическим кампаниям и личному вмешательству Сталина снова и снова восставал из пепла омоложенным и окрепшим.

Хрущевская эра ознаменовалась частичной и ограниченной десталинизацией, а также последними попытками возрождения утопии. Хотя крупномасштабный террор был осужден, отвергнут и заменен бескровным и избирательным, а „культ личности” Сталина подвергся суровой критике, десталинизация не затронула ни основные институты, ни официальную идеологию. Все недостатки системы были приписаны порочным чертам сталинского характера. Портреты и статуи вождя исчезли, его набальзамированный труп вынесли из мавзолея. Однако даже самые экстремистские идеи Сталина не были полностью отвергнуты или отменены. Была сохранена даже „теория” неизбежного обострения классовой борьбы при социализме, ей лишь придали несколько более относительный характер: официальная идеология больше

не декларировала, что обострение классовой борьбы неизбежно, но признавала, что при определенных обстоятельствах оно возможно. Аналогично были смягчены или подкреплены и другие сталинские идеи. В конечном итоге, критика дискредитировала Сталина как человека, но пощадила его репутацию выдающегося теоретика марксизма-ленинизма, указав как на его единственную ошибку на расхождение между верными ленинскими идеями, которые он исповедовал, и неленинскими поступками, которые он совершил. Работы Сталина, написанные в 20-е годы, например, „Об основах ленинизма” и „Вопросы ленинизма”, даже Хрущев расценивал как недостижимые вершины теоретической мысли. Конечно, невозможно было атаковать самое существо доктрины, не затронув при этом институты, которые она отражала и обосновывала, и наоборот, невозможно было атаковать институты, не затронув доктрину. Две операции позволили сохранить сталинизм без Сталина. Во-первых, марксистско-ленинскую доктрину начали представлять коллективным творением партии и ее руководящих органов, замалчивая тот факт, что обработал ее Stalin. Во-вторых, Хрущев провозгласил возврат к „ленинским нормам” партийной жизни, что на деле означало возврат к бюрократической коллегиальности второй половины 20-х и даже начала 30-х годов.

Поскольку Хрущев не мог и не хотел касаться „священных” принципов идеологии и основ системы, но решительно и искренне осудил сталинский террор, ему пришлось искать паллиативы импульсам, способным сообщить динамизм советскому обществу. Таким импульсом должны были стать реформы или, вернее, реорганизации сверху, которым надлежало заменить сталинские „революции сверху”. Такие реформы, например, реорганизация управления экономикой (создание совнархозов) или перестройка руководящих органов местных партийных организаций (каждый такой орган был поделен на два, из коих один ведал промышленностью, а другой – сельским хозяйством), не произвели большого впечатления на население, но вызвали раздражение и недовольство бюрократии. Поправки к уставу партии, принятые XXII съездом КПСС, предусматривали регулярное обновление руководящих органов, принудительные перемещения руководящих кадров. Это возымело такой же эффект, как и эко-

номические реформы. Эти меры были направлены против засильных явлений, против сложившейся практики, исключавшей возможность смещения руководителей. Они должны были вызвать „циркуляцию” руководящих кадров, которая при Stalinе обеспечивалась террором.

Вторым средством мобилизации партии и общества стали гигантские проекты, провозглашенные Хрущевым на XXI съезде в 1959 г. и на XXII съезде в 1961 г. XXI съезд партии одобрил семилетний план развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 гг. План сулил изобилие и процветание. Stalinский лозунг „догнать и перегнать развитые капиталистические страны по производству на душу населения” впервые был распространен не только на тяжелую индустрию, но и на производство товаров широкого потребления и на сельскохозяйственную продукцию.¹⁹

Насколько фантастической кажется эта цель сегодня, настолько смехотворными были меры, предпринятые для ее достижения. Бюрократы на местах принялись организовывать социалистическое соревнование. Вскоре в Центральный Комитет полетели рапорты, сообщающие, что отдельные области или районы уже перегнали Данию по производству яиц на душу населения или догнали США по производству мяса. Все это основывалось на сфабрикованной статистике и обмане.

XXII съезд, состоявшийся в 1961 г., пошел еще дальше. Он принял новую программу партии, которая обещала немедленный переход к высшей стадии коммунистического общества и построение коммунизма к 1980 г.²⁰

Никита Хрущев, конечно, мечтал о прогрессе СССР и советского блока и стремился избежать застоя. Кнут сталинского террора стал достоянием истории, он был неприемлем для правящей элиты, ибо террор, как уже случалось в прошлом, мог обернуться против самой элиты. С другой стороны, подлинные демократические преобразования, – восстановление, хотя бы частичное, гражданского общества и его автономных ассоциаций, – способные дать новый мощный импульс советской системе, представлялись немыслимыми, так как находились в вопиющем противоречии с установленвшимися структурами. Бюрократические реорганизации сверху и идеологический иллюзионизм име-

ли лишь один результат: постоянные реорганизации породили хаос, а иллюзии сменились разочарованием. Больше того, все это представляло серьезнейшую опасность для целостности и стабильности империи, что было наглядно продемонстрировано венгерским восстанием, польскими событиями, а также „пражской весной”, стимулированной – правда, с некоторым опозданием, – все тем же реформаторским ферментом хрущевского периода.

После свержения Хрущева его реформы были быстро свергнуты, а породившие их идеи преданы забвению. В течение некоторого времени советские идеологи критиковали „субъективизм” и „волюнтаризм” и трубили о необходимости „научного” (читай: осторожного) руководства. Некоторые симптомы указывали на возможность реабилитации Сталина. Поскольку такая операция была слишком рискованной, а потенциальная ее польза более чем проблематичной, правящая верхушка не провозгласила ни возврата к прошлому, ни программы реформ. Формула „реального социализма” оказалась наиболее подходящим выходом из создавшегося положения.

Насколько мне известно, только одно хрущевское нововведение пережило своего автора. Речь идет о комсомольских дружинах содействия милиции. Вот и все, что осталось от перехода к коммунизму и преобразования социалистического государства в самоуправляющееся коммунистическое общество, т. е. постепенной передачи функций государственных органов общественным организациям. Гражданам было дозволено участвовать в управлении общественными делами путем усердного выполнения полицейских функций в свободное от основной работы время. Такой итог симптоматичен, красноречив и в полной мере соответствует духу идеологии „реального социализма”.

„Реальный социализм”: основные элементы идеологии

В одной из своих статей Милован Джилас назвал Сталина призраком, который все еще бродит по миру. Никто сегодня, за исключением албанских руководителей, не притягает на него наследие, но припадать к этому источнику продолжают многие. Stalin, уже давно мертвый, присутствует в нашей жизни, по-

кольку сохранились институты, созданные под его руководством, и продолжается господство марксистско-ленинской идеологии, которую он доработал и систематизировал. Нынешние вожди ведут себя так, будто Сталина никогда не существовало, будто внедренные им практика и идеология были плодом коллективных действий. Но все это лишь подтверждает живучесть сталинских идей.

Искусство извлекать огонь, или изобретение колеса, – эти жизненно важные открытия человечества, – не знают авторства. Средний француз вряд ли теперь осознает, что жандармерия, префекты и гражданский кодекс, – все эти добропорядочные республиканские учреждения, – возникли во времена Наполеона. Наполеон был свергнут, его империя распалась, но некоторые из созданных им институтов выжили и были усвоены республиканским обществом, стали его „естественными” компонентами.

Приблизительно то же самое происходит со Сталиным и со сталинизмом. Официально советское общество силится про Сталина забыть, но сталинизм и без Сталина по-прежнему жив. Он и сейчас служит организационной основой и идеологическим фундаментом советского общества. К Сталину восходит и идеология „реального социализма”.

Можно даже сказать, что остаток доктрины не претерпел сколько-нибудь впечатляющих трансформаций. В общем и целом, марксизм-ленинизм остается тем же самым, каким он был разработан и кодифицирован Сталиным, – если отвлечься от мелких и едва ли существенных корректировок формы и содержания. Некоторые идеи укоренились, другие забыты, подправлен смысл некоторых терминов и переставлены акценты – вот, собственно, и все.

Идеология „реального социализма” не порывает со сталинизированным марксизмом-ленинизмом, она представляет собою лишь новое приложение все той же доктрины, новые нормы толкования и перетолковывания все той же марксистско-ленинской идеологии. Так марксизм-ленинизм превратился из бюрократизированного революционного учения в доктрину, освящающую „статус-кво”, в практические наставления по применению грубой силы, в орудие манипуляций прошлым и настоящим.

Марксизм-ленинизм, под воздействием формулы „реально-го социализма”, все больше и больше нищает, постепенно превратившись в набор „наиболее общих законов”, которые можно пересчитать по пальцам на одной руке. Руководящая роль марксистско-ленинской партии в обществе; строительство социалистического государства, выполняющего функции диктатуры пролетариата; национализация средств производства, природных богатств и т. д.; планирование экономики и руководство ею в соответствии с планом; пролетарский интернационализм — вот приблизительно и все, что можно извлечь из речей советских руководителей и их ставленников в Праге, Варшаве, Берлине и Софии.

По существу, это даже не „законы”, а некоторые элементарные правила, которым должна следовать новая правящая элита. Термин „закон” сохраняется в словаре „реального социализма” то ли по традиции, то ли по инерции — имея мало общего с формулами марксистско-ленинского учения сталинского периода; это, скорее, карикатура на них.

„Ортодоксальные” марксисты Второго интернационала (Каутский, Плеханов и др.) переработали критическую, — или, говоря иначе, диалектическую, — теорию капитализма и рабочего движения, разработанную Марксом, в систематизированный марксизм или учение, претендующее быть Weltanschauung, универсальной наукой о „наиболее общих законах природы, общества и мышления”. Ленин предложил волюнтаристское и инструменталистское истолкование марксизма. Наконец, Сталин предпринял первую попытку изложить ленинизм „более геометрически”, сведя марксизм к набору аксиом, из которых он дедуцировал свои заключения.²¹ Этот построенный на силлогизме (а в случае Сталина, — скорее, на паралогизме) дедуктивный метод ни в коей мере не был оригинальным. Сталин черпал свое вдохновение из теологии и схоластической философии, но, разумеется и близко не подошел к их концептуальной точности и логической строгости. Теперь этот юридический догматизм продолжает применять тот же метод толкования позитивного закона. Формулируя законы, Сталин искал фундаментальные принципы, которые затем можно было бы использовать как руководство для истолкования смысла конкретных явлений. В

применении к марксизму этот метод, несомненно нужный и полезный для истолкования и систематизации позитивного знания, оказался продуктивен лишь в одном смысле: будучи совершенно бесплодным в сфере производства знания, он способствовал построению или систематизации ленинизма, названного впоследствии „марксизмом-ленинизмом”. В то же время, благодаря „законам” и „аксиоматическому методу”, Сталин преуспел в пресекании иных возможных толкований „ленинизма”. Если они все-таки появлялись, он эффективно боролся с ними как с ереями, противоречиями священным „законам”.

В эпоху „реального социализма” марксистско-ленинские формулы утрачивают даже подобную фиктивную действенность. Они не годятся уже ни для толкований, ни для систематизаций. Они лишь стали неким сигналом, символом, который действует наподобие инъекции, приказа. Эта новая функция формул „марксизма-ленинизма” легко обнаруживается в официальных коммюнике, публикуемых после встреч клемлевских хозяев с лидерами „братьских партий”. Ссылки на них часто равнозначны последнему предупреждению, как это было перед интервенцией в Чехословакию или в канун переворота в Польше, произведенного генералом Ярузельским. В подобных случаях нет никакой необходимости эти формулы как-то развивать, их просто называют.

Марксистско-ленинские формулы эпохи „реального социализма” все больше начинают уподобляться тройственной формуле графа Уварова, министра при царе Николае I: „Самодержавие, православие, народность”. Все учение сводится, таким образом, к нескольким элементарным и незыблемым лозунгам. На место „самодержавия” уваровской формулы легко можно подставить „руководящую роль партии”, на место „народности” — „морально-политическое единство”, а „православия” — „дух партийности”. Но главное сходство „принципов графа Уварова” и нынешних „марксистско-ленинских принципов” — в их консерватизме. Они провозглашают незыблемость общественных устоев, анафему — переменам, образуя заслон против новых идей.²²

Рука об руку с этой формализацией принципов идет ритуализация марксистско-ленинского учения. Монотонное повто-

рение тех же тем, формул и цитат сопровождается ритуализацией языка. Придав этой идеологии жизнь с помощью ритуализированного языка, ее распространяют средствами массовой информации, и это в чем-то напоминает „молитвенные колеса” тибетских буддистов. Все это подкрепляется все более тщательно разрабатываемой системой празднеств, церемоний и строгих обрядов, которые, в их совокупности, сближают власть коммунистической партии с церковной – пусть и атеистической церкви. Я называю это ритуальным марксизмом-ленинизмом. Метаморфоза, начатая в эпоху Сталина, завершилась при „реальном социализме”. Если при Сталине обряды и церемонии лишь поддерживали и сопровождали учение, то в эпоху „реального социализма” „логос”, „идеологическое слово” оказалось полностью поглощенным ритуалом и превратилось в его вспомогательное орудие. Значение ритуального марксизма-ленинизма растет по мере того, как идеология утрачивает остатки рационального содержания и, наконец, полностью перестает соответствовать какой-либо социальной действительности. Это явление первостепенной важности. Здесь я о нем лишь упоминаю в ряду других метаморфоз идеологии, но намерен посвятить ему особый раздел. Отмечу лишь, что ритуализация идеологии марксизма-ленинизма сближает его с традицией православной церкви, которая всегда уделяла больше внимания церемониям, чем теологии. Она была и осталась главным образом литургической церковью. Верующий приобщается Логосу посредством своего участия в обрядах.

Формализация и декаданс марксистско-ленинской идеологии в фазе „реального социализма” сопровождаются интеллектуальной деградацией его служителей. Теоретиков, или даже идеологов, – больше нет. Идеология „реального социализма” нуждается лишь в распорядителях готовыми идеологическими шаблонами и их практическими приложениями, в запасе цитат из Ленина и речей генерального секретаря, который в данный момент находится на посту, и в администрациях бюрократизированной „идеологической работы”.

Безвозвратно миновали дни, когда Жданов и подобные ему деятели „братских стран”, такие например, как Ежеф Реваи в Венгрии, имели обыкновение вмешиваться в споры философов

и дела художников для оживления чахнувшей идеологии. Нынешним их наследникам сказать нечего. Они не в состоянии произвести „идеологические сенсации”. Дух изобретательности их покинул. Они лишь читают свои длинные и скучные речи, выступая на пленумах Центрального комитета, будто специально для иллюстрации полного отсутствия новых идей.²³

Было бы совершенно неуместно называть таких заправляющих „идеологической работой” бюрократов, как Суслов или его наследник К. Черненко, „охранителями правоверия”. Подобный титул еще подходил А. Жданову, но он явно не пристал нынешним блюстителям официального идеологического бесподобия. Чтение и подписание докладных записок, составленных их безымянными подчиненными, которые затем рассыпаются как циркуляры подведомственным им работникам „идеологического фронта”, – ответственным за идеологическую работу секретарям партийных комитетов, преподавателям марксизма-ленинизма, журналистам и т. д., – таков круг их обязанностей. Благодаря полному отсутствию оригинальности, они заменяются и взаимозаменяются.

Неудивительно, что титул главного теоретика автоматически приписывается правящему Генеральному Секретарю просто в силу его положения. Это непосредственно диктуется бюрократической логикой. Как высший вождь Партии-Церкви, он одновременно признается и ее главным жрецом. Как прямой наследник Ленина, – хотя, на самом деле, Сталина, – он автоматически притязает на качества великого теоретика, и нет возможности проверить, действительно ли советская бюрократия верит этому или только притворяется, будто верит. В любом случае, непомерные восхваления идеологической деятельности очередного правящего Генерального Секретаря свидетельствуют, насколько жалкими стали представления о том, что такая теория. Произносившиеся Брежневым пошлости превозносились его льстецами как вклады в науку. То же самое приложимо к Андропову. Он занимал пост генерального секретаря всего несколько месяцев, на протяжении которых произнес несколько речей и опубликовал одну статью. Тем не менее титул почитаемого теоретика был ему обеспечен.²⁴

Наконец, скажу несколько слов о модификациях марк-

систско-ленинского учения под воздействием идеологии „реального социализма”. Наиболее важные касаются перехода с низшей стадии коммунизма на высшую. После полнейшего фиаско программы партии, принятой XXII съездом в 1961 году, с ее посулами рая на земле, переход к высшей фазе коммунизма был отложен на неопределенный срок. Ныне утверждается, что не только полный коммунизм, но и его незавершенная стадия имеет множество переходных ступеней.

Согласно идеологам „реального социализма”, переход от социализма к коммунизму намного сложнее, чем полагали Маркс и Ленин. Первая фаза коммунизма (социализм) включает, во-первых, период перехода от капитализма к социализму (период революционных преобразований); во-вторых, период, когда только еще закладываются основы социализма; наконец, период развитого социализма, который опять-таки делится на несколько стадий.

Нынешние вожди определяют развитый социализм как длительную историческую fazу. Предполагается, что советское общество подошло к порогу этой fazы, но относительно продолжительности этого состояния они осмотрительнее Хрущева. Короче говоря, они извлекли урок из провала программы, которая была принята при нем, и не сулят большие наступления высшей fazы коммунизма. Легко догадаться, что когда исчерпаются сроки, они изобретут еще какой-нибудь новый период, который надежно отделят бы советское общество от его „конечной цели”. В свете идеологии „реального социализма” коммунизм все больше начинает походить на Deus absconditus теологов: он отдаляется по мере того, как верующий стремится к нему прилизиться.²⁵

Согласно идеологам развитого социализма, его экономический базис, социальная структура и политическая система уже приведены в соответствие с социалистическими принципами. Это социализм, развивающийся на собственной основе. Имеются авторы, определяющие развитый социализм как *органическое качественное целое*, которое, развиваясь, подчиняет все больше и больше сфер общественной жизни своим принципам и подавляет пережитки системы, построенной на частной собственности и других чуждых социализму социальных явлениях. Гармония

между элементами и компонентами этого целого все возрастает. Это органическое целое стремится таким образом к своей завершенной форме.²⁶

Отсюда следует, что целое должно совершенствоваться во всех своих аспектах, становясь тем самым все более законченным. Андропов характеризовал эту задачу как осевую линию новой партийной программы, а Черненко определил совершенствование развитого социализма „стратегической задачей”. В этом пункте советские вожди и гораздо более откровенны, и более точны, чем когда они говорят о высшей стадии коммунизма.

Согласно Андропову, развитый социализм стремится к социальной однородности. „Жизнь подсказывает, что становление бесклассовой структуры общества в главном и основном, судя по всему, произойдет уже на этапе зрелого социализма”.²⁷ Разумеется, эта однородность общества отнюдь не означает, что Политбюро растворится в гомогенной массе живущих на зарплату. Верить этому могут лишь очень наивные люди. Общество станет более однородным, очевидно, потому, что политическая система станет всеохватной, без зазора, поскольку в „возникшем вакууме появляются самозванные претенденты на амплуа выразителей интересов трудящихся”.²⁸ Чтобы достичь этой цели, производственные отношения и политическая система должны быть усовершенствованы в сторону еще большего этатизма. Процесс усовершенствования предполагает главным образом развитие общенародного государства и постепенное расширение участия масс в общественном управлении. Так нащупывается золотая середина между сталинским учением об усилении государства при коммунизме и идеей Хрущева о коммунистическом самоуправлении.

Карл Маркс основывал свою теорию об отмирании государства после победоносной социалистической революции на идее растворения его в коммунах. В России произошло как раз обратное; органы местного самоуправления были поставлены под государственный контроль, а элементы земской организации, с таким трудом внедрившиеся в последние десятилетия старого режима, подавлены. Теперь обещают как одно из будущих достижений предоставление гражданам прерогативы заседать в комиссиях при государственных органах, для содействия

бюрократам-исполнителям в проведении в жизнь спущенных сверху решений. Защищаемое идеологами „реального социализма” дальнейшее омассовление социальной структуры имеет, по крайней мере, одну несомненную цель: усовершенствовать систему этатизма и тем самым предотвратить возникновение независимых ассоциаций и выражение автономных интересов различных социальных групп. Искомая однородность тождественна, – согласно скрытому смыслу этого понятия, – бюрократическому тоталитаризму. В советской империи серьезное препятствие „единообразию социальной структуры” представляют национальные различия, следовательно, необходимо усилить русификацию и в прямой лингвистической форме, и в косвенной, т. е. навязывая народам империи не только русский язык, но и бюрократизированную массовую культуру. Именно поэтому освежается старое сталинское учение о будущем смешении наций и национальных языков в единый международный язык. Такая перспектива не может в современной ситуации восприниматься безоговорочно, несмотря на ссылки Ленина и осторожность, с которой ее предлагал Андропов. И Черненко вывел отсюда неизбежные следствия.²⁹ Согласно его логике, каждый „чужак” просто вынужден освоить русский язык, ибо только таким способом он может ознакомиться с мировой культурой и расширить свои контакты с миром. Русификация преследует две цели. С одной стороны, она облегчает гражданской и военной бюрократии справляться с ее задачами, с другой стороны, она предназначена укреплять китайскую стену, отделяющую народы советской империи от мировой культуры.

Идеология „реального социализма” рассталась с лозунгом „догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству на душу населения” – за исключением, разумеется, производства вооружений. Отказ от этой цели, помимо практической неудачи, продиктован и идеологическими причинами, которые, впрочем, тесно связаны с этой неудачей. Идея, что развитый социализм есть органическое целое, прогрессирующее на собственной основе, влечет за собою признание бесполезности и невозможности сравнений с капитализмом во всем, что касается количественного роста. Каждый организм наделен собственным ритмом роста: созревание пшеницы несопоставимо

с ростом ели. Было бы, следовательно, бессмысленно проводить количественные сравнения между наиболее развитыми капиталистическими странами и развитыми социалистическими странами. Так недостаток превратился в добродетель.

Идеологи „реального социализма” все чаще и чаще говорят о неуместности количественных критериев и, как добрые защитники социологической органичности, указывают на значение качественных критериев. Они теперь заново открыли понятие „качество жизни”, которое отвергалось еще лет пятнадцать назад. Правда, они перекрестили его в „социалистическую цивилизацию”, подбавив моралистические и идеологические компоненты и элементы политики воздержания, проводимой ныне и наиболее развитыми капиталистическими странами.³⁰

Учение о развитом, или зрелом, социализме как о долгом и лишь качественно определимом периоде, не ограниченном во времени, – подчеркивает в идеологии „реального социализма” ее консерватизм. Развитый социализм не представляется более периодом перехода, но целой исторической эпохой. Официальная периодизация истории, как и отражаемая в календаре концепция исторического времени, периодически повторяемые юбилейные кампании, которые проводятся всеми средствами массовой информации, демонстрируют и развивают этот дух консерватизма. Откройте учебник советской истории: каждый партийный съезд характеризуется как „исторический”, как начало новой исторической эры. А каждая такая эра подразделяется на более короткие периоды, временными вехами которых оказываются плenумы Центрального Комитета – тоже „исторические”. А промежутки между этими вехами заполнены усилиями всего общества воплотить решения руководящих органов Партии в жизнь. История, таким образом, пишется наперед. Она застрахована от вторжения чего-либо нового и непредвиденного. Такая псевдоисториография строится на псевдособытиях, вытекающих из единообразия исторических периодов, которые охватывают прошлое, настоящее и, особенно, будущее. Попробуйте отличить XXIY съезд КПСС от XXYI или XXVI съездов! Они одинаковы, как куриные яйца. Даже советские вожди вынужденно перечисляют на одном дыхании эту троицу съездов брежневской эры, ибо они попросту неразличимы.

Тот же метод применяется и в других странах „реального социализма”. Официальная история нормализации режима в Чехословакии преподносится как подлинно историческое событие, а „пражская весна” – как мелкий кризис руководства, разместившийся между двумя краеугольными камнями развития страны: XIII съездом, проведенном при Новотном, и XIV съездом (разумеется, имеется в виду не съезд в Высочанах в августе 1968 года, а съезд под тем же номером, состоявшийся в 1971 году). Так современная история предстает как монотонная непрерывность, вечное повторение одного и того же.

Настоящее воспринимается не как начало будущего, а как заключительный момент прошлого. Более того, вследствие тщательного контроля за календарем, ставшим набором годовщин и их празднований, историческое время вообще исчезает: события прошлого существуют с настоящим, осмысливаясь как элементы настоящего или даже будущего.³¹

Заброшенными оказались при господстве идеологии „реального социализма” великие проекты прошлого. О них больше не упоминается. План преобразования природы, революция быта и образа жизни, идея всесторонне развитой личности, отмирание государства – всего этого будто бы и не бывало. Никто больше не мечтает обучить каждую кухарку управлять государством, никто больше не верит, что каждая кухарка станет государственным деятелем. Но зато, напротив, государственные деятели опустились до кухонного уровня: они правят государством и обществом, как это делали бы повара: по бюрократическим рецептам. Утопия у власти уступила место бюрократической антиутопии у власти. „Русский революционный размах”, который Сталин объявил существенной особенностью ленинского „стиля в работе”, – исчез. Правда, Сталин связывал эту особенность с другой, не менее важной, – с „американской деловитостью”. Русский революционный размах, – указывал Сталин более шестидесяти лет назад, – является противоядием против косности, рутины, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский революционный размах – это живительная сила, которая будит мысль,двигает вперед,ломает прошлое, дает перспективу. Без него невозможно никакое движение вперед. Но он имеет все шансы выродиться в манилов-

щину, если не соединить его с американской деловитостью в работе... Но американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если не соединить ее с русским революционным размахом”.³² (Обратный перевод с французского. – Ред.)

Сталинские оценки устарели: лейтмотив „реального социализма” составляет смесь склеротической бюрократической рутины с вульгарными спекуляциями, или, иначе говоря, изворотливостью населения. Обрядовый, построенный на ритуалах и общественных церемониях марксизм-ленинизм, соединен с ценностями американского потребительского общества, которые закрепились в частной жизни людей.

Марксизм-ленинизм как ритуал

Ритуальный марксизм-ленинизм – это побочный продукт марксизма, утратившего характер критической теории и ставшего непригодным для социологического анализа общественных явлений. Эта форма марксизма-ленинизма, – бесполезная на ниве познания и бесплодная в сфере идей, сложилась не сейчас. Она пустила корни при Сталине, но все еще набирает силу. Если при Сталине марксистско-ленинский ритуал был всего лишь вспомогательным элементом государственной идеологии, то при „реальном социализме” он охватил и поглотил все остальное. Нынешний марксизм-ленинизм есть ритуал и, – поистине, – ничего большего.

Превращение марксизма-ленинизма в ритуал повлекло за собою его формализацию. Он сводится теперь к строго очерченному подбору жестов. Он составлен из правил ритуализованных речей и ритуализованного поведения. Именно марксизму-ленинизму отведено первое место в церемониальных собраниях, празднествах и юбилейных торжествах, которыми режим стремится узаконить свое существование. Именно марксизм-ленинизм олицетворен в обрядовых телодвижениях и церемониях, в иконах.³³

Ритуальный марксизм развил собственную мифологическую и иконографическую символику. Его всестороннее изучение выходит за масштабы этой статьи и пределы моих возможностей. Поэтому я остановлюсь только на трех элементах ри-

туального марксизма-ленинизма, которые представляются мне наиболее существенными: мифология ленинизма и куль Генерального Секретаря; гражданские празднества и контроль над календарем; церемонии и обряды, относящиеся к торжественным событиям общественной и личной жизни.

Замечу только, что ритуализованный марксизм-ленинизм способствовал возникновению новой псевдонауки: нормативного марксистско-ленинского обрядоведения, назначение которой – разработать и канонизировать детальные правила церемоний и новых обрядов. Раз возникнув, эта новая дисциплина, в свою очередь, произвела жрецов, аппаратчиков, специализировавшихся на обрядах и организации празднеств.³⁴

Мифология ленинизма и куль Генерального Секретаря

Основу идеологии „реального социализма” составляет мифология ленинизма и куль Ленина. Почти религиозный куль Ленина родился сразу после его смерти в изобретенном Зиновьевым термине „ленинизм” („Ленин умер, да здравствует ленинизм!”) и в сооружении Мавзолея. Мавзолей, – эта странная смесь египетских верований времен фараонов, ярмарочного аттракциона и сверх-натуралистического музея восковых фигур „Гревин” в Париже времен Арт Нуво, – на первых порах шокировал европейский вкус. Однако, постепенно все к нему привыкли и даже нашли извинительным. „Братские страны” впоследствии попытались его имитировать, но успех был минимален. Мавзолей Клемента Готвальда в Праге в конечном счете приспособили для других целей. Единственное, что сохранилось во всем восточно-европейском блоке, – это Мавзолей Георгия Димитрова в Софии.³⁵

Ленинский Мавзолей – это наиболее значительное воплощение мифологии ленинизма. Но он – лишь базис широко разветвленной надстройки: Центральный Музей Ленина в Москве, его отделения в столицах республик федерации, музеи того же типа во всех „братьских странах”, местные музеи в „ленинских местах” (где он останавливался или жил), ленинские монументы (в одной только Чехословакии, стране сравнительно небольшой, – около пятидесяти таких монументов!). Поскольку нет

культы без реликвий и поскольку есть лишь одна мумия, во всех этих храмах выставлены ленинские предметы: стул, на котором сидел Ленин, чернильница, в которую он погружал свое перо; использовавшийся им телефон; и даже паровоз, отремонтированный во время первого коммунистического субботника в 1918 году, в котором лично участвовал Ленин.

Не забудем также и Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на который возложена тройственная функция. Во-первых, он собирает для своих архивов все ленинские документы, – каждый клочок бумаги, на котором Ленин набросал пару слов, даже формуляры, заполнявшиеся им в библиотеках. Во-вторых, Институт марксизма-ленинизма хранит документы, которые имеют какое-либо отношение к работам Ленина, а также тематические коллекции, которыми Ленин характеризуется не только как политический мыслитель, но и как основатель советского радио, кинематографии и авиации. И, наконец, третья функция – это агиография. Поскольку однотомная официальная биография Ленина, изданная Институтом, считается слишком скатой и скромной, Институт воздвиг целую агиографическую литературу, – хронику жизни Владимира Ильича Ленина в двенадцати томах, где день за днем, час за часом отмечены все ленинские поступки и дела. Между прочим, эта хроника послужила исходным материалом для не менее абсурдного начинания советского телевидения: серии из жизни Ленина в двадцати четырех частях. Телезрители стран „реального социализма” имеют возможность рассчитывать видеть Ленина на протяжении двадцати четырех вечеров: Ленина-ребенка; Ленина в ссоре с фарисеями; Ленина, искушаемого Сатаной; Ленина, окруженного своими учениками, включая и его любимцев, и Иуду (разумеется, – Л. Троцкого).

Ленинская мифология, – или, вернее сказать, ленинский мифологический цикл, – наделяет своего героя почти сверхчеловеческими качествами. Она наполнила собой литературу, официальную историографию, театр, кино и средства массовой информации. Она воплотилась в тщательно разработанной системе изображений, – в произведениях живописи, воспроизведящих сцены из ленинской жизни, в аллегорических скульптурах и символических монументах, а также в целом цикле ленинс-

ких ритуалов: торжественный церемониал ленинских годовщин, коммунистические субботники... Печать славит образцово-показательных филателистов, которые коллекционируют марки исключительно с изображениями Ленина. Она публикует фотографии деятелей, которые, выступая на партийных собраниях, подражают ленинской мимике и жестикуляции, — или, говоря точнее, тому, как изображается Ленин живописцами и скульпторами: голова слегка откинута назад, подбородок решительно поднят, выброшенная вперед правая рука указывает будущее. Пионеры и комсомольцы организуют экскурсии, пикники и горные восхождения по ленинским местам, до последней детали повторяя каждый ленинский шаг.

Некоторые символические ритуалы ленинского культа отдают прямо-таки чем-то мистическим: к Ленину относятся как к живому. Например, при проверке и обмене партийных документов билет № 1 всегда выписывается на имя В. И. Ленина (а № 2 — правящему Генеральному Секретарю). Ленин фигурирует в качестве постоянного депутата Московского совета. На его имя не только выписывается депутатский мандат, — в зале заседаний совета для Ленина оставляется специальное кресло. В ритуализованном языке установлены фразы, которые как бы намекают на причастие. Например, член партии, ссылаясь на цитату из Ленина, не скажет „я сошлюсь на ленинские сочинения”, а — „давайте посоветуемся с Владимиром Ильичем”. Еще более разительный пример дает нам товарищ Лазуркина, — ветеран партии, проведшая много лет в сталинских лагерях. При Хрущеве она была реабилитирована и ее избрали делегатом XX съезда. Выступая на съезде, она сказала, что советовалась с Лениным, который явился ей во сне. По словам Лазуркиной, Ленин просил избавить его от неприятного соседства в Мавзолее с его недостойным последователем, и просил Лазуркину уведомить съезд об этом его желании.

Хотя подобные примеры мистических контактов с Лениным сегодня встречаются не столь уж часто, наличие иррациональных элементов в ленинском культе неоспоримо. Конечно, нелегко делать предсказания в данной области, но это явление, как результат прогрессирующей ритуализации официальной идеологии и утраты ею рационализма, может, очевидно, еще

более усилиться в будущем. Участие в ритуалах и церемониях может порождать не только скуку и разочарование, но в некоторых случаях вызывать экзальтацию или даже настоящий мистицизм.

Так или иначе, роль ленинского мифа в идеологии „реального социализма” растет. То же самое можно сказать и о почти религиозном поклонении Ленину, об экзальтации, вызываемой его именем. Партия никогда не прекращала „культ личности” и поклонения героям, хотя временами она их и осуждала (даже во времена Сталина, даже устами самого Сталина). Где источник этого явного противоречия между провозглашаемыми партией принципами и совершенно иной практикой? Очевидно, в том факте, что „культ личности” вытекает из самой структуры антидемократического и тоталитарного режима. Он необходим для функционирования этого режима. Конечно, культ верховного вождя включает в себя и фантастические, и чисто идеологические компоненты, как и эксцессы: специфический колорит и пышность стиля объяснимы „восточными” вкусами Сталина. Однако культ вождя правящей партии имеет также и вполне рациональные, порожденные реальностью элементы. Роль Генерального секретаря при режиме советского типа исключительна не потому, что он действительно „гений” и вообще не в силу его личных качеств, а благодаря беспрецедентной важности занимаемого им поста. Он — воплощение господства нового класса чиновников; он — не только вершина пирамиды власти, но в каком-то смысле и основа этой пирамиды. С него начинается и на нем замыкается круг всех политических решений.. Именно поэтому занимаемая должность сообщает Генеральному секретарю почти сверхестественный ореол, какой бы посредственностью он на самом деле ни был. Он — ничто иное, как олицетворение власти новой элиты. Культ верховного вождя — это символический атрибут его должности, но одновременно — и идеологическое эхо новой социальной реальности.

Именно поэтому почти одновременно с советским режимом появляется кult Ленина, хотя при его жизни этот кult еще не выливался в такие близкие к религиозным формы, какие возникли сразу после его смерти. Если этот ленинский кult удерживал с тех пор свою внутреннюю идеологическую структу-

ру, то его функции менялись несколько раз. Сначала он служил опорой власти триумвирата большевиков-ветеранов (Зиновьева, Каменева и Сталина) – „ближайших учеников Ленина”. Поскольку Ленин действительно был харизматической личностью, не представлялось возможным приступить сразу к созданию культа его последователей. И все-таки уже к концу 1920-х годов культ Ленина оказался преобразован в дополнение и идеологическую принадлежность культа Сталина. Непомерные панегирики Ленину пелись теперь во славу Сталина – „достойного продолжателя дела Ленина”, „Ленина сегодня”.³⁶

Достаточно очевидно, что осуждение культа Сталина и сталинских преступлений XX съездом КПСС, как и провозглашенный тогда же „возврат к ленинским нормам” в партийной и государственной жизни, в действительности знаменовали собой лишь возврат к культу Ленина. Таким образом пытались заполнить идеологический вакuum, образовавшийся после того, как был разрушен сталинистский миф.³⁷

Поклонение Сталину оказалось слишком опасным для самого правящего слоя. Культы последующих генеральных секретарей, лишенных сталинской харизмы, – Хрущева, Брежнева, Андропова и т. д., – оказались теперь возможны лишь в виде побочных ответвлений ленинского мифологического цикла. Их сияние куда скромнее, как у луны, всего лишь отражающей лучи вечно пылающего солнца. Освящаемые культом Ленина персонажи менялись, будут меняться и впредь; молитвенная настороженность пребывает. Хорошую тому иллюстрацию дает анекдот времен частичной десталинизации: в одной из среднеазиатских республик решили снести двадцатиметровую статую Сталина, чтобы воздвигнуть на ее месте еще более гигантский монумент Ильича.

Нынешняя официальная идеология марксизма-ленинизма по видимости продолжает исповедовать исторический материализм. Достаточно очевидно, однако, что этот последний выродился в скучный набор словесных штампов, превратился в мертвые остатки былого марксистского словаря. Фактически нынешний марксизм-ленинизм предлагает самую вульгарную концепцию истории, которая не имеет с теорией Маркса ничего общего, кроме нескольких вразнобой употребляемых терминов.

Да иначе, по-моему, и быть не могло: историческому материализму нет места в рамках марксизма-ленинизма, в его категориальной структуре. Исторический материализм не пригоден для славословий какому бы то ни было существующему порядку. Поэтому он умер и уже не возродится. Исторический материализм Маркса критичен по самой своей природе. Он разрушен для мистификации любого типа. Поэтому он мыслим теперь лишь вне пределов существующего режима.

Бросаются в глаза с этой точки зрения два элемента культа Ленина в его нынешнем виде: во-первых, его вневременность (возвеличивание единого архитипа идеального вождя и учителя бюрократии); во-вторых, его временность (культ правящего в данный момент Генерального секретаря, компенсирующий отсутствие у этого последнего ленинской харизмы).

У культа Ленина несколько функций.

Во-первых, он служит фундаментом всей мифологической системы. Он обеспечивает существующий режим оправданием. Антидемократический по своей природе этот режим нуждается в подобном оправдании и тем больше, чем дальше он отстоит от исторического события, которое повело к его созданию, чем больше расширяется дистанция, отделяющая его от Октябрьской революции. СССР не представляет собой в этом отношении исключения: любой диктаторский или авторитарный строй, существование и институты которого не были результатом конституирующей воли, свободного выбора народа, вынужден искать своего оправдания в Провидении, в божественном или историческом праве; или, если говорить более конкретно, именно о советском режиме, – в объективных законах истории, которые привели его к власти, или в действиях полу-исторического, полу-мифического героя, который послужил орудием этих законов истории.

Во-вторых, культ Ленина был и остается специфической формой культа правящего Генерального секретаря, искупая личные слабости этого последнего. Правящий Генеральный секретарь – это самый верный ленинец, а потому он – водитель народов советской империи и вождь мировой революции (хотя в настоящее время об этом предпочитают не говорить вслух). Его власть не наследственна, его трон не завещан предками.

Но зато – он прямой продолжатель дела Ленина наподобие того, как римский папа продолжает святую миссию Св. Петра, первого римского епископа. Тем самым режим обретает идеологические средства, оправдывающие передачу власти из одних рук в другие. Замечательно при этом, что идеология „реального социализма“ без особого труда избавляется от таких неприятных промежуточных звеньев в цепи власти, как Сталин или Хрущев. Будто не было никакого промежутка между Лениным и Брежневым, а вслед за этим между Лениным и Андроповым.³⁸

В-третьих, культ Ленина осуществляет также и важную воспитательную задачу. Официальная биография Ильича представляет собой набор примеров образцового поведения при всех вообразимых обстоятельствах общественной и личной жизни. Все эти псевдоисторические картины, в массовом порядке изготовленные скверными советскими художниками, все эти экспонаты ленинских музеев, воспроизводимые иллюстрированными журналами, как и фильмы, создаваемые по канве ленинской биографии, театральные постановки и даже оперы из жизни Ленина, – все это, взятое вместе, превращает культ Ленина в некий суррогат Нового Завета со всеми его притчами. Идеология „реального социализма“ оказывается, таким образом, как бы засекреченной атеистической религией без веры и закона. Ее задача – закрепить конформизм, необходимый для бесперебойного функционирования режима.

Календарь и гражданские праздники

Даже беглого взгляда на советский календарь достаточно, чтобы многое понять в природе этого общества. Одно празднество сменяется другим. Торжественно отмечаются не только столетия или двухсотлетия исторических событий, но и шестидесятилетия, семидесятилетия и т. д. партийных съездов, выхода в свет той или иной ленинской брошюры или статьи, годовщины фабрик или колхозов, как, разумеется, и дни рождения Генерального секретаря, как и прочих членов Политбюро. Где истоки этой необыкновенной структуры советского календаря? Откуда взялась эта страсть к юбилеям? Что все это значит?

Чтобы оправдать этот календарный фетишизм, этот неис-

черпаемый кладезь годовщин и псевдособытий, заполняющих первые страницы газет, вытесняющих действительные события или восполняющих отсутствие этих последних, идеологи „реального социализма“ любят повторять изречение,пущенное в оборот Лениным: „Революция – это праздник угнетенных и эксплуатируемых“. Таким образом понятия праздника и революции предстают как нерасторжимо связанные. Но даже допуская, что Октябрьская революция переживала как праздничное событие, следует подчеркнуть, что в обществе, сложившемся в результате этой революции, празднество и революция как бы поменялись местами. По прошествии времени революция стала всего лишь поводом для торжественного ритуала. Она не продолжается. Она не практикуется. Она лишь празднуется как юбилей. Революция, иначе говоря, – событие давно завершенного прошлого. Прибавим к этому, что в эпоху „реального социализма“ революция, как и социализм, стала всего лишь элементом праздничного действия. Напрасно было бы искать и того и другого в реальной жизни.

„Социальная революция XIX века, – писал Карл Маркс, – может черпать свою поэзию только из будущего, но не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяkim суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвцам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе свое собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы“.³⁹

Большевистские лидеры знали, конечно, сочинения Маркса. Однако вскоре они начали отклоняться от предназначений отца-основателя. Во-первых, жизнь оказывалась сильнее их намерений. Во-вторых, их влекли к тому же наклонности их собственного ума. Н. Бердяев характеризовал эту наклонность как неодолимое стремление русской интеллигенции все что угодно обращать в революционную догму, – будь то дарвинизм или марксизм. Русская душа, согласно Бердяеву, вечно тянется к универсальному, она одержима идеей Абсолюта. Отсюда – постоянное смещение относительного с вечным, частного с об-

щим. Отсюда — склонность к преувеличениям и идолопоклонству. Русский способен прилагать свою религиозную энергию к предметам, которые вовсе не религиозны, переносить дух религии в такие релятивные и специфические сферы, как наука и общественная жизнь.⁴⁰ Кто не поверит Бердяеву из-за его антимарксистских пристрастий, может найти нечто сходное в работах другого русского мыслителя, который был марксистом. Богданов, критикуя „Материализм и эмпириокритицизм“ Ленина, усматривал в этой работе наклонность к фидеизму.⁴¹ И мне не кажется, что он был неправ. Не забудем, что некоторые большевики — Луначарский и Горький, например, — пытались после поражения первой русской революции соединить социализм с религией, истолковывая социализм как новую и высшую религию будущего. Хотя эти попытки „богостроительства“ и встретили решительный отпор Ленина, мы вправе расценить их как предворяющий симптом тенденций, взявших верх после победы революции.

Так или иначе, партия большевиков допустила, чтобы изгнанные в дверь предрассудки прошлого вернулись через окно. Пройдет немного времени, и сама партия примется черпать свою поэзию не только из собственного прошлого, но из русского прошлого вообще. В конечном счете, она перестроила всю свою идеологию, подведя под нее фундамент „исторической памяти“. Прекрасной тому иллюстрацией может служить хотя бы учебник по истории Коммунистической партии Советского Союза, этот основной источник политических знаний для ее членов.

Новый режим, следуя примеру Французской революции, очистил и реконструировал календарь, хоть он и не зашел так далеко, как якобинцы. Революция намеревалась поставить календарь под свой контроль, внеся в него собственные линейные представления об историческом времени и ритме обновляемой общественной жизни. На этом пути кое-что было достигнуто. Однако, в своем стремлении стереть все следы прежних, религиозных по своему происхождению праздников, декретируя при этом целый поток новых праздников и памятных дат, новый режим в конечном счете сам принялся строить календарь, ориентируясь при этом на прошлое. Получилось нечто вроде

эффекта бумеранга. И сегодня перед нами — новый пассеистический праздничный календарь, утверждающий циклическую концепцию исторического времени и представления о возвратных ритмах социальной жизни.

Введенный уже в 1918 году „красный“ календарь заменил как религиозные, так и государственные праздники старого режима. Было введено шесть новых общественных праздников: 1 января (Новый год), 22 января (годовщина „кровавого воскресенья“ 1905 года), 12 марта (день свержения самодержавия), 18 марта (день Парижской коммуны), 1 мая и 7 ноября (революционные годовщины). В дополнение к этому отмечались также 8 марта, 17 апреля (годовщина расстрелов на Лене в 1912 году) и ряд других памятных дат. В первые годы после революции все эти праздники действительно сохраняли революционный характер. Они были спонтанны и изобретательны в своей сценичности; они часто походили на революционные карнавалы.⁴²

В сталинский период календарь менялся несколько раз. Некоторые праздники были переделаны в памятные даты, но стали рабочими днями. Была введена целая серия дней, посвященных отдельным профессиям и занятиям, что считалось важным, хотя при этом количество нерабочих дней не увеличивалось. В послесталинский период число таких профессиональных дат увеличилось еще больше. Если прибавить к этому дни, посвященные военным профессиям (например, день танкиста, день артиллериста и т. д.), их теперь около сорока. Кстати сказать, размножение годовщин отнюдь не сопровождалось увеличением свободного времени для советского рабочего. В общем и целом в советском календаре сохраняется теперь всего восемь общественных праздников, тогда как во Франции, например, их одиннадцать. Советский календарь твердо ориентирован на производительность.

Характер советских праздников резко изменился еще при Сталине. В них не осталось ничего похожего на революционные карнавалы. Напротив, они превратились в манифестации, проводимые по строго установленному порядку. Они теперь — государственные, милитаристские и „патриотические“. Они отражают окаменевший общественный порядок, иерархичность и проч-

ность социальных водоразделов. В них не осталось ничего стихийного: даже тексты лозунгов к празднику Первого мая каждый год печатаются загодя на первой странице газеты „Правда“. Общественные демонстрации, организованные согласно принципам архитектуры человеческих масс, строятся в соответствии с неизменными правилами: вожди смотрят на трудящихся с трибуны Мавзолея или с других воздвигаемых для этого случая трибун. Эти вожди давно уже забыли о том, чтобы шествовать вместе с трудящимися хотя бы в первых колоннах. Они с удовлетворением смотрят на свои собственные гигантские портреты и благосклонно принимают поклонение своих подданных.

Стоит особо отметить празднования профессий и занятий (День железнодорожника, День строителя, День металлурга, День геолога и т. д.), которые, как уже говорилось, обнаруживают тенденцию размножаться. Их цель, конечно, очевидна и совершенно практична: они предоставляют регулярную возможность для критической проверки данной отрасли, для того, чтобы наградить „ударников производства“ или покритиковать просчеты в организационном аппарате. Но заслуживает внимания, что этим поводом пользуются и для того, чтобы восхвалять так называемые „рабочие династии“, то есть семьи, в которых одна и та же профессия передается из поколения в поколение. Дед клал кирпичи, сын кладет кирпичи и то же самое предстоит делать внуку. И так же идеологически предуказаны занятия еще не родившихся.

Говоря о „рабочих династиях“, идеологи „реального социализма“ любят употреблять выражение „знатные люди“. Прославление профессий и занятий, как и торжественный язык (в сущности, аристократического происхождения), который при этом применяется, призваны, очевидно, сделать то или иное занятие более привлекательным для молодежи, побудить ее пополнить ряды данной профессии.

Но я рискнул бы утверждать, что все эти празднования, все эти символические и словесные прославления имеют также и иной, более скрытый смысл, который гораздо более важен, чем внешний и показной. Прежде всего, консолидируя сплоченность и профессиональное самосознание определенных привиле-

гированных профессий, эти прославления оказываются искусственно создаваемой помехой для формирования классового сознания в масштабах всего народа. Они – всего лишь символические выражения корпоративного разделения рабочих. Внедренный государством корпоративный дух оказывается элементарной и заведомой подменой классовой солидарности. Поскольку рабочие лишены возможности самостоятельно объединяться в ассоциации, государство собирает их искусственно при посредстве празднеств.

Во-вторых, прославление профессий и занятий, сочетаемое с культом „рабочих династий“, имеет тенденцию к закреплению социальной стратификаций. Все эти символы выражают идеологическими средствами тот факт, что работники физического труда, как и их потомки, обречены на ручной труд, что эра повышенной вертикальной мобильности, которая открывала широкие возможности для социального продвижения, осталась в прошлом. Стагнация и общая неподвижность социальных структур сопровождается сокращением возможностей социального продвижения, закреплением наследственности социальных ролей.

И, в-третьих, празднования профессий и занятий приносят с собою новую „псевдорелигию труда“. Они усиливают тиски, при помощи которых режим внедряется во время досуга рабочих и, посредством торжественных церемоний, которые сами по себе не продуктивны, одурачивает их, побуждая рабочих больше думать о своей работе, а не о том, как они проведут свое свободное время.

Гражданские празднества под воздействием идеологии „реального социализма“ преобразованы в тщательно организованную рутину. Всякий элемент дионисийства из них предусмотрительно устранен. Они отмечаются в организованном порядке как манифестации порядка, повиновения, военной мощи и социальной иерархичности. Воплотившись, таким образом, в зримых, ощущимых действиях и символах, идеология „реального социализма“ стремится мобилизовать себе в поддержку сферу иррационального. Руководство по совершенно новой, специфически советской общественной дисциплине, науке о церемониях, празднествах и обрядах говорит об этом достаточно откровенно:

„Специфическая особенность церемоний как средств коммунистического воспитания предполагает, что они воздействуют на сознание народа как на рациональном, так и на иррациональном уровнях”⁴³ При таком соединении обоих элементов превалирует, конечно, иррациональное. Таким путем „научный социализм” преобразуется в средство социальной магии. Согласно тому же руководству, празднества, церемонии и обряды – „это действенные способы воспитания народа в духе марксистско-ленинской идеологии”.⁴⁴ Тем самым дается великолепное определение того, что такое марксизм-ленинизм, что он собою представляет в действительности: а именно, набор церемоний и обрядов.

Иерархия временных ценностей перевернута в период „реального социализма” с ног на голову. Ее вершина теперь – славное мифологизированное прошлое. В своей борьбе против коррупции и других „пережитков капитализма” он сам себя вздвиг до положения века добродетели. Настоящее не столь обесценивается, как во времена революционных мечтаний о тысячелетием царстве, но оно мыслится теперь как продолжение прошлого. Прошлое циклически возвращается в настоящее, исторические события (Октябрьская революция, коллективизация или Великая отечественная война) превращены в мифы; исторические личности превращены в архитипы (например, основатель ЧК Феликс Дзержинский – это „рыцарь революции” или „сознание революции”), а некоторые учреждения (допустим, ЧК, ГПУ, НКВД – все эти организации тайной полиции, предшествовавшие нынешнему КГБ) становятся „оружием Геракла”, „мечом революционного пролетариата”. Поскольку утрачено историческое время, его устремленность в тысячелетия начинает походить на замкнутый на себе цикл.⁴⁵

Конечно, любой календарь приурочен к небесному механизму и соответствующим циклическим переменам в природе. Результатом этого – повторяемость. Но календарь имеет также социальную и историческую основу. Он организует общественное время. А поскольку это так, он подчинен господствующим концепциям исторического и общественного времени. В итоге он открыт не только к прошлому, но и к будущему. Однако, советский календарь, будучи совершенно атеистическим, устранив

малейшие остатки всех христианских по происхождению праздников, неожиданно оказался в опасном соседстве с древним сельскохозяйственным календарем, который определялся циклами природы. Правда, не все страны советской империи решились пойти столь далеко. Там сохранились, по крайней мере, два традиционных праздника: Рождество и Пасха. Но идеология „реального социализма” стремится очистить их от последних элементов религиозного содержания, превратив Рождество в семейный праздник, а Пасху – в празднование весны, дня равноденствия. Посредством подобной операции они лишаются и своего эсхатологического смысла. В них выхолащивается идея конечности.

Средства массовой информации при „реальном социализме” бессознательно подчеркивают этот возврат организации общественной жизни к модели старого сельскохозяйственного календаря. Прошлое и настоящее, в их нерастворимом смешении, все снова и снова появляются на первых страницах газет в строгом соответствии со сменой времен года. Временами года диктуется в значительной степени и содержание печати, радио и телевидения. Это явление легко заметит даже и не очень наблюдательный читатель. Из года в год он читает те же передовицы, те же заголовки, те же доклады, видит те же фотографии. Весной он прочтет статьи о важности пахоты и сева, летом – об урожае и нехватке напитков, осенью он там найдет критику недочетов в работе железных дорог, а зимой – статьи о трудностях, вызванных морозами, и о дальнейшей необходимости развивать энергетическую базу, которая все еще не на уровне стоящих перед ней задач. Он читал о том же в предшествующем году (только отмечаемые цифры и имена были другими) и слишком хорошо знает, что то же самое ему будет предложено и в следующем году. И так постепенно читатель привыкает к тому, что ритмы общественной жизни уподобляются ритмам природы, как это и было в доиндустриальном обществе.

Церемонии и обряды

Официальная советская доктрина делит празднества, церемонии и обряды в зависимости от их идеологически-полити-

ческого содержания, на следующие категории: 1) государственные и революционные праздники; 2) трудовые праздники; 3) семейные праздники, церемонии и обряды, связанные с повседневной жизнью; 4) праздники и обряды, связанные со сменой времен года и циклами природы. Некоторые советские специалисты выделяют также в особые группы военные праздники и специальные обряды для молодежи. Другие рассматривают военные праздники и церемонии как нечто среднее между чествованием разных профессий и государственными праздниками.⁴⁶

Поскольку общественные праздники и присущий им церемониал достаточно хорошо известны, обратимся к обрядам, относящимся к событиям личной жизни, семьи и ритмам природы. Именно они на протяжении брежневского правления развивались особенно интенсивно. Конечно, эта обширная тема не может быть здесь исчерпана. Я ограничусь лишь несколькими общими наблюдениями, оставляя задачу обстоятельного анализа антропологам, которые наверняка найдут во всем этом много захватывающего интересного.

Я оставляю также в стороне церемонии и обряды, элементы которых начинают появляться во внутренней жизни правящих коммунистических партий в странах с однопартийной системой советского типа. Там формируются некоторые обычай и ритуальные формы, которые не предусматриваются уставом, но составляют твердо установленные церемонии, — например, в связи с приемом новых членов. Их фотографии особенно часто появляются в советской печати.⁴⁷

Марксистско-ленинские специалисты по ритуалам утверждают, что „новый человек” нуждается и в новых обрядах. Они считают ошибочным мнение, согласно которому по мере отмирания религии в обществе будет оставаться все меньше и меньше церемоний и обрядов. Наоборот, по их мнению, обряды и церемонии как элементы новой традиции будут умножаться по мере увеличения связей между личностью и обществом или, говоря точнее, между личностью и государством. Обряды и церемонии христианского происхождения должны замещаться нехристианскими: я бы не стал их называть атеистическими.

Воздвижение необходимой материальной инфраструктуры

было начато с середины 60-х годов. Унылые правительственные здания больших советских городов сменились роскошными, в помпезном стиле дворцами, которые заполнились умелыми в организации церемоний и проведении обрядов чиновниками. Такие гражданские храмы, хоть и несколько более скромные, продолжают строиться повсюду.

Обряды, отмечающие перемены в жизни индивида, разрослись в целую систему, без особого полета фантазии списанную с религиозных образцов. Торжественная регистрация новорожденного заменила крещение. Был введен специальный церемониал посвящения школьников в пионеры с торжественным повязыванием красных галстуков (причем, эта церемония проводится в священном „ленинском уголке“). Таким же торжественным сделали вручение первого паспорта, напоминающее церковную конfirmацию. Только проводится она не священником, а высоким милицейским чином, который воплощает в своем лице идеи порядка и дисциплины. Появились, конечно, и тщательно разработанные ритуалы свадеб. Не обошли вниманием и организацию гражданских похорон.

Церемониалы инициаций обнаруживают безудержную тенденцию к размножению. Специальные ритуалы разработаны для посвящения молодежи в рабочие или колхозники, как посвящения в студенты, которые проводятся в высших учебных заведениях. Специальным ритуалом отмечается получение первой зарплаты и т. д. Напечатаны специальные руководства с тщательно разработанными сценариями, с образцами подходящих к случаю трогательных речей и ритуальных формул. Произносятся клятвы, вручаются наказы от государства. Изобилуют при этом такие эпитеты, как „святой“ или „священный“.

Каков же смысл всего этого? Прежде всего идеология „реального социализма“, соперничая с церковью, пытается лишить ее прихожан. Чтобы достичь этого, марксистско-ленинские ритуалисты беззастенчиво подражают церкви, используя те же средства: архитектуру (дворцы), псевдорелигиозную живопись, хоровое пение, литургические формулы, игру светотени. Тут стоит отметить некоторую тонкость: свечи, которые играют большую роль в обрядах православной церкви, заменены факелами.

Государство пользуется обрядами инициаций, чтобы проникнуть в частную жизнь людей, в семью. У идеологии „реального социализма” – „боязнь пустоты”; она стремится заполнить собою все пространство общественной жизни. Государство, хотя бы символически, намерено присутствовать и в брачной постели и на кладбищах. Станный ритуал, который популяризируется средствами массовой информации, побуждает молодоженов завершать свадебную церемонию паломничеством либо к местному памятнику Ленина, либо к монументу Великой Отечественной войны (по большей части, к возведенному на пьедестал танку с угрожающе поднятым орудием), либо к статуе Неизвестного солдата, отдавшего жизнь за Отечество. Все это представляет собою странную смесь подчинения всесильной власти Отца, любви и грубой силы, производства потомства и смерти. Явление это тоже заслуживает специального анализа. Во всяком случае, не вызывает сомнений, что новые обряды предназначены культивировать политический конформизм, укреплять дисциплину и готовность подчиняться диктату Государства.

С другой стороны, некоторые ритуалы выполняют чисто прозаические функции: например, чтобы предотвращать излишнее потребление водки после первой получки или зачисления в студенты.

Новые обряды не представляют собою теперь вызова старому миру и его традициям, как это было после Октябрьской революции, когда устраивались „красные” крещения и свадьбы. Никто теперь и не помышляет о том, чтобы наградить собственного сына или дочь именами вроде Октябрины, Турбины или Владлена. (Тут, впрочем, не о чем сожалеть.) Новые ритуалы очищены от малейших элементов революционности или нонконформизма. И, таким образом, как это ни странно, нонконформистами оказываются сегодня те, кто идет в церковь, чтобы отпраздновать свадьбу или крестить своего ребенка. Именно они обнаруживают тем самым гражданскую независимость и гражданское мужество.

За последние несколько лет власти пытались также оживить народные обряды, связанные с циклами природы: проводы зимы, праздник русской березки, латышское лиго, татарский са-

бантуй (праздник летнего солнцестояния), нуруз (праздник весеннего равноденствия) и лола (праздник тюльпанов) в Средней Азии. Все эти празднества дохристианского, домусульманского или языческого происхождения призваны заместить христианские или мусульманские, которые обречены на исчезновение. Они считаются хорошими и „прогрессивными” именно потому, что они архаичны. Согласно логике советских бюрократов, каждый, кто поклоняется Богу монотеистической религии, заслуживает осуждения как человек суеверный и отсталый, но тот, кто придерживается древних обрядов поклонения солнцу или огню, обнаруживает тем самым свою преданность „научной” идеологии марксизма-ленинизма.

Все эти обряды, поскольку они, по видимости, аполитичны и идеологически нейтральны, вызывают меньше скептицизма по отношению ко всему официальному. Участвуя в них, никто не подозревает, что подвергается при этом индоктринации. Но они отнюдь не безобидны. Будучи очищены от чего-либо трансцендентного (и не только в религиозном смысле), они служат делу „реального социализма” с его фетишизмом сиюминутного и повторяемого в общественной жизни. Обряды прощения с зимой помогают продлить до бесконечности охватившую страну великую социальную зиму.

Список ритуализаций советской общественной жизни можно было бы продолжать и продолжать: обряд „выборов”, ритуализация социалистического соревнования и т. д. Сюда же входит и уже отмеченная мною ритуализация языка. Без модификации функций языка, без превращения его в орудие власти, без монополии „руководителей” на словесные оценочные выражения и наименования, без их власти навязывать этот ритуализованный язык своим подданным, идеология „реального социализма” была бы невозможна. Поскольку нельзя отделить все эти проблемы от специфической роли в странах советской империи средств массовой информации, они тоже заслуживают отдельного исследования.⁴⁸

Ритуальный марксизм-ленинизм, роль которого все еще продолжает расти, приближает идеологию „реального социализма” к статусу государственной религии. Но здесь не следует

пренебрегать двумя существенными отличиями: во-первых, это – религия без бога, или, говоря точнее, место, которое отводилось в традиционных религиях божественному, в данном случае стремится занять Государство; во-вторых, это – религия без веры. Даже если в виде исключения вера и присутствует, ее значение сугубо второстепенно. Идеология „реального социализма“ не требует ни энтузиазма, ни внутренней убежденности, ни усвоения определенных понятий. Современный режим добивается лишь конформизма и участия в ритуалах, пусть и лицемерных. Этот чисто внешний характер идеологического воздействия, как и чисто внешние критерии приверженности к идеологии „реального социализма“, оказываются существенными факторами ее хрупкости. Эта идеология будет не в состоянии выстоять в ситуациях политического кризиса, противоборства с другими, способными предложить более рациональную аргументацию идеологиями, как и прямого столкновения с реальностью.

Однако, при нормальных или „нормализованных“ обстоятельствах та же ритуализация для этой же самой идеологии оказывается источником прочности. Показное следование ее интеллектуальным и моральным требованиям легко, удобно. Она не провоцирует внутренних конфликтов, не рождает ни стремления к правде, ни поисков абсолюта. Ответственность за личные поступки она переносит на сверхличное: Государство и Партию. Участие в церемониях и практикование обрядов не столь мучительно, как может показаться с первого взгляда. Ритуальные действия все же внушают веру, даже если она, привитая таким способом, окажется слаба и смутна. То же самое можно сказать и о ритуализованном идеологическом языке. Каждый, кому приходится им пользоваться, волей-неволей усваивает выражаемые этим языком идеологические штампы. Принимая определенный словарь, заражаются, пусть даже наперекор внутреннему неприятию, и выражаемой этим языком идеологией. Так замыкается круг, – пусть хотя бы до известной степени. С другой стороны, какая же религия имеет среди своих прихожан одних только святых, подвижников и аскетов? В конечном счете, полагается лишь соблюдать и исполнять обряды, даже если вера слаба или вовсе отсутствует.

Отдельные замечания

1. Можно ли еще называть открывшееся перед нами явление идеологией в подлинном смысле этого слова? После всего сказанного справедливо усомниться в этом. К. Кастроидис утверждает, что образ мира, каким он представляется теперь в странах советской империи, было бы неправильно называть „идеологией“. „Идеология возможна лишь там, где наличествует намерение определенной группы или класса выдвинуть „рациональное“ или „рационализированное“ обоснование существующего положения дел, которое следует сохранить, или необходимости его изменения. Идеология, следовательно, мыслима только там, где „рациональное“ признается как норма, как краеугольный камень... Идеология может существовать только в таких обществах, где намерения той или иной группы, того или иного класса выражаются посредством доводов и доказательств, основанных, хотя бы по видимости, на „рациональной“ проверке, на критике, на сопоставлении с фактами“.⁴⁹ Если эти условия отсутствуют, перед нами не идеология, а вера или, как в случае с советской империей, – утилитарное употребление слов с целью закрепления господства.

Разумеется, все зависит от того, как определять идеологию. Очевидно, например, что идеология „реального социализма“ не соответствует ни гегелевскому, ни марксовому понятию, что такое идеология. Символы „реального социализма“ не могут быть названы ни „совокупностью истины и заблуждения“, ни относительной истиной, которая гипостазируется, преобразуется в абсолютную истину. Нельзя их также свести к превратному или отчужденному сознанию: слишком велика в них роль лжи, прямого обмана и циничного манипулирования. Слуги режима создают эти символы чисто pragmatically в соответствии с нуждами момента. Режим нуждается в этих символах, чтобы оправдывать и сохранять себя, чтобы не исчезла видимость. И все же – это не просто обман, не просто манипуляция. Слуги режима – в то же время и пленники ими самими употребляемых слов, попав в капкан и оказавшись жертвой собственных манипуляций псевдоидеологическими символами и терминами. Тут есть эле-

менты объективности и стихийности, которые, вырываясь из-под контроля манипуляторов, завладеваю ими самими. Этого не объяснишь марксистской концепцией идеологии. Здесь более уместны наблюдения Вильфредо Парето, который писал о некоем „словесном аккомпанименте” явно нелогичного действия, который, не будучи подлинным побудительным мотивом этого действия, задним числом его оправдывает, идеализирует и обеляет. Если уж применять термин „идеология” к „реальному социализму”, то смысл его следует искать либо в упомянутых „словесных аккомпанементах” Парето, либо в интерпретации „мифа” Жоржа Сореля, либо в „политической формуле Гаэтано Моска, но отнюдь не у Маркса.

Что же касается понятия „идеократия”, то оно еще годится для истолкования советского режима на первоначальных этапах его развития, но отнюдь не на его современной стадии. Свою власть современная правящая элита практикует не во имя идей – каких бы то ни было. „Идеи” или, говоря точнее, идеологические символы, по мере того, как власть становится самоцелью, преобразуются в набор пригодных для ее поддержания подсобных средств.

2. Свою опору идеология „реального социализма” находит в своеобразной бюрократизированной массовой культуре.⁵⁰ Об этом стоит сказать хотя бы кратко, поскольку левые круги на Западе склонны усматривать опасность, исходящую от массовой культуры Америки, но не видеть угрозы со стороны массовой бюрократической культуры советского типа. (Это неведение обусловливается, с одной стороны, иллюзиями относительно Советского Союза, которые все еще не окончательно преодолены, а, с другой стороны, в нем можно видеть последствие довольно-таки ловкой советской политики экспорта культурных ценностей: то, что предназначается для внутреннего потребления, иностранцам не показывают, а показывают им как раз осужденное и запрещенное к циркуляции внутри страны).

Бюрократическая, как и коммерческая массовая культура – это продукт современной индустрии культуры. Подобно американской массовой культуре, она тоже передается средствами массовой информации, которые составляют и ее инфраструктуру, и ее составную часть. Однако, есть между ними и существенная

разница.

Если учесть критику западной массовой культуры со стороны некоторых левых авторов и особенно тех из них, кто подпал под влияние идеологии стран третьего мира, можно даже подумать, что вторая почти избавлена от пороков первой. Она не коммерциализированна, не подчинена законам рынка, не проповедует капиталистические ценности, не распространяет порнографии, не прославляет насилие и преступность. Ее печать, как и радио и телевидение, свободны от анархии информации, от широко критикуемой монополии на информацию, принадлежащей журналистам и другим профессионалам в этой области. Они не гонятся за сенсациями. Они работают по плану, имеют образовательные и воспитательные задачи и к тому же в них велико участие читателей и вообще публики (письма читателей, репортажи рабочих и сельских корреспондентов). „Буржуазный объектivism” заменен „духом партийности” (или, говоря точнее, – откровенной пристрастностью).⁵¹

Поскольку невозможно перечислить здесь все существенные элементы бюрократической массовой культуры, назову хотя бы некоторые из них. Прежде всего – это заполнение печати несобытиями, псевдособытиями и антисобытиями. Затем – это политические и идеологические брошюры, которые представляют собой руководства по марксизму-ленинизму и его основным аспектам. Это – романы и рассказы, написанные в стиле социалистического реализма, фильмы и спектакли, однообразно перетряхивающие все те же события Октябрьской революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны, а также конфликты между образцовыми руководителями предприятий и разложившимися работниками или наоборот. Невозможно также пройти мимо массовых песен, коллективной сатиры или литературных произведений Брежнева. К этому следует еще добавить скульптуру „социалистического реализма”, а также развлекательные произведения, насыщенные надлежащим видением мира, – телевизионные зарисовки из жизни рабочей семьи или кадрового военного, из жизни больниц и исследовательских учреждений, а также прославления образа „разведчика”, то есть, иначе говоря, советского шпиона.

Все эти создаваемые с большим или меньшим „профессиона-

нальным мастерством” произведения бюрократической массовой культуры, продиктованные официальной доктриной социалистического реализма, распространяют все то же самое манихейское видение мира, все те же стереотипы поведения, все те же ценности „реального социализма”, внедряют все те же добродетели, все тот же конформизм.

Вся эта бюрократическая массовая культура не имеет никакой, либо очень незначительную рыночную стоимость. Она распределяется сверху либо бесплатно, либо очень дешево. Она – не буржуазная, но и не популярная. Она бюрократична (ибо производится по приказу бюрократов) по своему происхождению, по своему содержанию и социальным функциям. Это – массовая культура, без конца повторяющая самое себя, лишенная малейших элементов стихийности, творчества или негативности. Решительно отвергая все „вероятностное” или „спекулятивное”, она не переступает границ того, что дано в настоящем. Она бесплодна во всем, что касается производства идей, чуткости и воображения. Она ничего не открывает и не изобретает. Воспроизводя все снова и снова самое себя, она оказывается, таким образом, крайне консервативной.

Господство бюрократической массовой культуры, конечно, не достигает тотальности. В ее огороженное пространство все же вторгается нечто творческое. Для этого остаются, по крайней мере, две лазейки: национальное и мировое классическое наследие, а также современная мировая культура. Впрочем, до сих пор режиму все-таки удавалось обезвреживать и то и другое путем отбора, надлежащих толкований и превращения произведений культуры в „памятники”, в нечто музейное. Эти произведения ассилируются бюрократической массовой культурой с таким расчетом, чтобы они становились неотличимыми от ее собственных подделок.

Другая лазейка открывается благодаря тому, что в некоторых странах советского блока продолжает существовать подлинная творческая культура. Ее влияние, однако, сдерживается тем, что произведения такого рода замалчиваются и низводятся до положения „самиздата”. Ленинская идея о двух культурах в каждой национальной культуре, будучи перенесена в иную реальность, по ходу дела изменила свой смысл. В Советском

Союзе, Чехословакии, Польше – повсюду, хотя и в различной степени, – на пути развития национальных культур создаются препятствия. Их душит всесильное присутствие сверхнациональной бюрократической массовой культуры. Даже в тех случаях, когда она не импортируется непосредственно из Советского Союза, даже когда ее произведения создаются местными авторами, когда они пишутся, экранизируются и т. д. по-чешски или по-немецки, они содержат те же штампы, несут в себе те же ценности бюрократического консерватизма.

Бюрократическая массовая культура оказывается средством косвенной русификации и национального угнетения. Этую ее роль трудно переоценить. Глубокая встремленность интеллигенции соседствующих с Советским Союзом стран – отнюдь не преувеличение. Под угрозой само национальное выживание их народов. В конечном счете, все решается тем, как долго та или иная страна является частью советской империи. Приведу хотя бы один, но достаточно устрашающий пример. Где-то в середине 70-х годов директор крупного чехословацкого издательства „Свобода” (!) и неистовый „нормализатор” М. Е. Палонцы нанес визит своим коллегам в Москве. В ходе переговоров советские „товарищи” не скрывали своего недовольства: они чувствовали, что запрет чешских ревизионистских авторов и замена их переводами книг с русского чреваты риском, взрывом недовольства, который столь явные акты русификации могут вызвать. Чтобы смягчить это впечатление, они предложили регулярно снабжать чешское издательство рукописями по философии, социологии, политической экономии, истории, написанные советскими авторами, которые не гонятся за славой и готовы остаться анонимными. В дополнение к этому требовалось всего лишь найти чехословацких граждан, согласных уступить свои имена для обозначения авторства соответствующих публикаций. Видимость в таком случае была бы соблюдена. Не знаю, была ли реализована в деталях подобная „братская помощь”, но в конце-концов это и не столь уж важно. Результат остался бы тем же, как если бы удалось найти достаточное количество чехов, готовых изготавливать тексты с чисто советским содержанием на чешском языке.

3. Есть ли основания говорить об идеологическом кризисе

стран советского блока или хотя бы предвидеть наступление такого кризиса в будущем? – такое мнение, казалось бы, подтверждается тем, что идеология „реального социализма“ не выдерживает разумного анализа, неспособна встретиться лицом к лицу с фактами или устоять в свободной дискуссии.

И все же ответить категорически на этот вопрос невозможно. Вполне вероятно, что он даже и сформулирован неправильно, поскольку режим уже в прошлом преуспел в устраниении каких бы то ни было причин, которые наносили бы ущерб его идеологическому престижу, порождая, таким образом, его кризис. Идеологическая формула „реального социализма“ отделила идеологическое и от реального. Тем самым она ликвидировала возможность конфронтации понятий с фактами. В рамках системы подобная конфронтация успела утратить всякий смысл. Устранила сама возможность возникновения ересей. Никто уже не в силах предложить новое истолкование марксизма-ленинизма по сравнению с предлагаемым официальными идеологами.

Я готов утверждать, что все попытки развития или ревизии марксизма-ленинизма заранее обречены на провал. Я имею в виду внутреннюю неспособность идеологии „реального социализма“ в его нынешнем варианте породить какую-либо новую идею. Конечно, существует такое явление, которое можно называть „кризисом достоверности“. Покуда режим функционирует „нормально“, этот фактор не проявляется, но если разразится острый кризис (по совершенно не идеологическим причинам), отсутствие достоверности может привести к полному отказу от официальной идеологии.

С другой стороны, явные слабости идеологии „реального социализма“ (отсутствие оригинальности и творческого подхода, бесконечные повторы и т. д.) оказываются источниками ее силы. Рассматриваемые в рамках режима и его собственной внутренней логики, они в значительной степени способствуют сохранению отношений господства и подчинения, оказываются действенным орудием консерватизма, средством сохранения социального и политического „статус-кво“.

Идеология „реального социализма“ поддерживает сплоченность правящего слоя, цементирует его единство перед лицом общества. Любая попытка модернизировать эту идеологию лишь

ослабила бы позиции правящей элиты, пробила бы брешь в ее идеологической монолитности и в прочно утвержденной однопартийной системе, что, в свою очередь, повлекло бы за собой раскол и образование фракций.

Марксизм-ленинизм в его нынешнем виде исчерпывает политическую и общую культуру правителей. Он незаменим для правящей элиты, ибо придает ее общественному сознанию категорическую структуру. Эти „идеологические доспехи“ обеспечивают правящий слой штампами, используемыми для истолкования, а, следовательно, и для понимания событий; готовыми ценностными суждениями. Такая категориальная структура оказывается необходимым средством организации социального опыта правящей элиты.

В конечном счете, даже если действительность понуждает к некоторым робким новшествам, они в любом случае будут внедряться в бюрократическом духе, а идеология „реального социализма“ предоставит возможность истолковать их как „возврат“ к ленинским истокам и лишит их, тем самым, даже видимости чего-то нового.

Идеология „реального социализма“ – это нечто вроде невидимой „китайской стены“, которая отгораживает от иных культурных миров отдельных индивидов и все общество. Ее бесплодное всемогущество парализует мысль. Конечно, ее господство влечет за собою идеологическое безразличие и аполитичность населения. Но такое положение отнюдь не противоречит ее целям. Напротив, оно облегчает преобразование „общего управления вещами“ (короче, как мечтал Энгельс, заменило бы политику) в тотальное управление человеческими существами.

Своим решительным „nihil novum“ идеология „реального социализма“ гарантирует режим от перемен с неопределенными и проблематичными результатами, от перемен, которые после провала реформаторских экспериментов и последующей за этим провалом новой волны репрессий, вызвали бы в населении еще больше страха и разочарований.

Именно поэтому царство „реального социализма“ может оказаться длительным, очень длительным.

4. Могут возразить, что облик, по крайней мере, двух стран советской империи (Венгрии и Польши) не столь мрачен,

а трещины в идеологии „реального социализма” глубокие. Но я намеренно сосредоточился на Советском Союзе, поскольку ощущаю, что его развитие – или, вернее сказать, отсутствие какого бы то ни было развития – имеет решающее значение для судеб всех стран советской империи. Некоторые авторы строят свои гипотезы на том, что существующие различия со временем нарастают, а потому будущее скорее за расхождениями, чем за единобразием. Лично же я склонен к большему скептицизму. Мне представляется, что время более благоприятствует тенденциям к единобразию, по крайней мере, до тех пор, пока империя не испытает потрясений от ударов извне.

История человечества не знает вечных империй. Но многие из них пережили века.

Примечания

1. Я писал об этом также в работе *“La succession au trone et la kremliologie, Alternative № 20*, январь–февраль 1983 г.
2. G. D. Karpov, *Reálny socialismus a kritika jeho falsifikátorů*, „Nová Mysl“, No. 9, Praha, 1981; Р.И. Косолапов, Социализм. К вопросам теории, Москва, 1979.
3. Эта идея развита в книге: C. Castoriadis, *Devant la guerre I. Les réalistes*, Paris, 1981, p. 249.
4. Доклад на конференции в Восточном Берлине, посвященной теоретическим работам Карла Маркса. „Руде право”, 19 апреля 1983 г.
5. Очевидно сходство с злоупотреблениями психиатристкой во времена Николая I, в частности с преследованиями Чаадаева. Характерно также заявление графа Бенкendorфа начальнику политической полиции Г. Орлову, пытавшемуся смягчить участь Чаадаева. „Прошлое России – великолепно, сказал тогда Бенкendorф, – ее настоящее великолепнее, а великолепие будущего даже представить себе невозможно; такова, мой дорогой, позиция, с которой следует писать историю России” (М. Лемко, Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг., Изд. второе, Ст. Петербург, 1909, стр. 411) – обратный перевод с французского, – Ред.
6. Симптоматично, что термин „конституционный закон” был заменен в юридической терминологии СССР и стран советской сферы влияния термином „государственное право”. Эта модификация терминологии косвенно подтверждает фиктивный характер конституции в системах советского типа. Это не конституции в общепринятом смысле слова, т. е. не сформулированная в законах воля граждан, а набор законов, созданных властью имущими, которые определяют права органов государственной власти и обязанности граждан. В дореволюционной России также существовали такого рода законы, определявшие порядок наследования престола, герб, флаг, гимн Российской империи и др. Никто и не думал приравнивать эти законы к конституциям. Изменения в официальной советской юридической терминологии отражают тенденцию идеологии „реального социализма” к консерватизму.

7. В обществах Древнего Востока, основанных на „азиатском” способе производства, политическую систему которых называют „восточным деспотизмом”, степень урбанизации была довольно высокой. Однако их крупные по тем масштабам города не были фактором прогресса, напротив, они способствовали застою. В них, правда, происходили „дворцовые перевороты”, но такие перевороты не влекли за собой перемены в общественных отношениях, а просто заменяли одну деспотию другой.
8. Екатерина II нашла предлог, чтобы откладывать конституционные реформы до бесконечности: „Прежде всего необходимо превратить это стадо в людей”.
9. Я хотел бы напомнить эпизод из истории русского политического мышления. Даже будучи тяжело больным, Белинский во время прогулок неизменно останавливался у строящегося тогда в Петербурге первого вокзала. Со страстью пророка он утверждал, что железные дороги спасут Россию.
10. „Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира” (В. И. Ленин, Соч., т. 33, с. 89) Это было сказано в ноябре 1921 г. Но чтобы достигнуть этого, продолжал Ленин, „поработать еще надо десяток-другой лет с таким же напряжением и успехом, как мы работали в 1917–1921 годах, только на гораздо более широком поприще”.
11. Для Маркса диктатура пролетариата, хотя она и не очень точно сформулирована, означает правящее положение пролетариата, а не особую форму государственной власти. Каутский понимал это, и он был прав в полемике с Лениным после Октябрьской революции.
12. К концу 1930-х годов Сталин провел несколько ревизий ленинизма, наиболее существенная из которых касалась вопроса об отмирании государства. Сталин также выдвинул весьма удобную для него идею об обострении классовой борьбы после победы социализма. Наконец, он „обогатил” марксизм-ленинизм новым элементом – „полицейским видением мира”, сформулированным в его докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
13. R. I. Kosolapov. Socialismus. K o tázkom teorie, Praha, 1982, p. 484.
14. В работе „Марксизм и вопросы языкоznания” Сталин писал: „Вообще нужно сказать к сведению товарищам, увлекающимся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому путем взрыва неприменим не только к истории развития языка, – он не всегда применим также и к другим общественным явлениям базисного или надстроичного порядка. Он обязателен для общества, разделенного на враждебные классы. Но он вовсе не обязателен для общества, не имеющего враждебных классов. В течение 8–10 лет мы осуществляли в сельском хозяйстве нашей страны переход от буржуазного индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю. Это была революция, ликвидировавшая старый буржуазный хозяйственный строй в деревне и создавшая новый, социалистический строй. Однако этот переворот совершился не путем взрыва, т. е. не путем свержения существующей власти и создания новой власти, а путем постепенного перехода от старого буржуазного строя в деревне к новому. А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти при поддержке основных масс крестьянства”. И. Сталин, „Марксизм и вопросы языкоznания”, Госполитиздат, 1952, с. 28–29.
15. Ср. И. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952.
16. Там же.
17. Там же.
18. Stalin понимал, что террор затрагивает совершенно невинных людей, и поэтому приводил русскую пословицу: „Лес рубят, щепки летят”.
19. См. История КПСС, Московское издательство литературы на иностранных языках, 1960, с. 826 французского перевода.
20. Приведенные цитаты не содержатся в более поздних изданиях, как нет там и названия съезда: „съезд строителей коммунизма”.
21. Об основах ленинизма, Лекция, прочитанная в Свердловском университете в начале апреля 1924 г.
22. Константин Черненко, выступая на пленуме ЦК КПСС, посвященном идеологической работе (июнь 1983 г.), подчеркивал: „Разу-

меется, новые факты могут вести к необходимости дополнить, уточнить сложившиеся взгляды. Но есть истины, не подлежащие пересмотру, проблемы, решенные давно и однозначно. Нельзя, оставаясь на почве науки, „забывать” об основополагающих принципах материалистической диалектики”.

23. Типичный пример – выступление Черненко на июньском пленуме 1983 г. В докладе не было ни одной стимулирующей идей.

24. Вот что говорил К. Черненко в докладе об идеологической работе на июньском пленуме ЦК КПСС:

„Все это выдвигает перед нами ряд теоретических и практических задач. Возьмем задачи теоретические.

Подлинными достижениями марксистско-ленинской мысли последнего времени мы по праву считаем положения и выводы, содержащиеся в материалах XXIY–XXVI съездов КПСС, Пленумов ЦК, в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Разработка концепции развитого социализма, путей повышения эффективности производства в условиях научно-технической революции, постановка вопроса о становлении бесклассовой структуры общества в исторических рамках первой фазы коммунизма, углубление наших представлений о содержании национального вопроса на нынешнем этапе, о важнейших тенденциях международной жизни, развитие ленинского учения о войне и мире, о защите социалистического Отечества – эти и другие теоретические обобщения вооружают партию новыми идеями, научно обоснованным, взвешенным подходом к актуальным проблемам современности.

25. Говоря о новой программе КПСС, Андропов указал, что некоторые положения программы 1961 г. „не в полной мере выдержали проверку временем, так как в них были элементы отрыва от реальности, забегания вперед, неоправданной детализации” (Речь Андропова на заседании ЦК КПСС 15 июня 1983 г.)

26. Один из идеологов „реального социализма” Р. И. Косолапов приписывает это открытие Брежневу. Брежnev действительно использовал выражение „органическое целое” в докладе о проекте советской конституции (R. I. Kosolapov, Op. Cit., pp. 449–490).

27 Речь на заседании ЦК КПСС 15 июня 1983 г.

28. Там же.

29. Отчетный доклад пленуму ЦК КПСС, 14 июня 1983 г.

30. Мы еще раз процитируем Андропова: „У нас часто используется формула „повышение уровня жизни”. Но ее порой трактуют упрощенно, имея в виду лишь рост доходов населения и производство предметов потребления. В действительности понятие уровня жизни гораздо шире и богаче. Тут и постоянный рост сознательности и культуры людей, включая культуру быта, поведения, и то, что я бы назвал культурой разумного потребления. Тут и образцовый общественный порядок и здоровое, рациональное питание, тут и высокое качество обслуживания населения (с чем у нас, как известно, еще далеко не все благополучно). Тут и полноценное с нравственно-эстетической точки зрения использование свободного времени. Словом, все то, что в совокупности достойно именоваться социалистической цивилизованностью”, Речь на пленуме ЦК КПСС, 15 июня 1983 г.

31. См. N. Manheim, Das konservative Denken, in: *Wissenssoziologie*, Luchterhandverlag, Berlin and Neuwied, 1964, pp. 437–440.

32. И. Сталин, Вопросы ленинизма, Московское изд. литературы на иностранных языках, 1947, с. с. 86–87 французского перевода.

33. Это чрезвычайно важное явление пока еще не было подробно изучено. Я рекомендую книгу Jean-Pierre Sironneau, *Secularisation et religions politiques*, Mouton éditeur, The Hague–Paris–New York 1982, особенно главы 8 и 9, а также работу Christopher A. P. Binns, *The changing face of power: revolution and accommodation in the development of the Soviet ceremonial system (Parts I–II in Man–Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 14, No. 4, Dec. 1979, and vol. 15 No. 1, March 1980)*.

34. Празднества и обряды в период „реального социализма” – тема необыкновенно интересная, однако, в странах советской империи не только не поощряется изучение этих обрядов, но даже препятствуют их проведению.

35. Мавзолей Ленина – это загадка, которую разгадать не легко. В эссе “*La Notion de Mausolee dans le Marxisme*” в журнале “*La folie politique*”, Payot, Paris 1977, Филипп Соллерс поднял несколько проблем, но, как мне думается, наиболее важная часть загадки мавзолея – это готовность посетителей долго и терпеливо стоять в очереди.

36. См. официальную биографию Сталина, которую нынешние советские руководители предпочли бы забыть.
37. „Советский аппарат осудил „ошибки” Сталина, и сделал это охотно, поскольку террор ставил под угрозу и аппаратчиков”. Но этот же аппарат не в состоянии отбросить идеологию сталинизма, какой бы иллюзорной и косной она ни была, поскольку только эта идеология оправдывает и его доминирующее положение в обществе в настоящее время и необходимость его доминирования в будущем. Можно даже сказать, что аппарат не в состоянии функционировать без „харизматического” лидера. Этую роль можно предоставить только Ленину, первому основателю аппарата, вождю, который разработал идеологию. Через Ленина сохраняется материальная, интеллектуальная и историческая преемственность аппарата. При этом „ошибки” промежуточных вождей не ставят под сомнение ни суть системы, ни суть „ленинизма”. Недавно живой Сталин был заменен давно умершим Лениным, но в атмосфере полного отсутствия критического мышления продолжает существовать кумир, культ вождя”. — *M. Djilas, Ecrits politiques, 1983, pp. 180–181.*
38. Напомним, что говорил крупный специалист по вопросу „культа личности” – шах Ирана. В беседах с журналистами он неоднократно подчеркивал, насколько противны ему торжественные мундиры, однако он „вынужден” был постоянно носить их, поскольку этого „хотел народ”.
39. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte; Basic Writings on Politics and Philosophy, London 1969, p. 363.*
40. *Les sources et le sens du communisme russe, Gallimard, Collection Idees, Paris 1970, pp. 33–35.*
41. A. Bogdanov, L. Akselrod, V. Bazarov, P. Juskevic, M. Gorki: *Fede e scienza, La polemica su Materialismo ad empiriocriticismo di Lenin. A cura e con un saggio di Vittorio Strada, Einaudi, Torino 1982.*
42. См. *Rene Fulop-Muller, Geist und Gesicht des Bolschevismus, 1926.*
43. Наши праздники, Госполитиздат, 1977, с. 1–2.
44. Там же, с. 13.
45. Интересно, что в России избегают определения „модерный”, упот-

ребляя вместо него слово „современный”, причем термину „модерный” придается отрицательное значение (модернизм, модернист и т. п.). Слово „модерный” предусматривает новизну, слово же „современный” – совершенно нейтрально.

46. Наши праздники, с. 2–3.
47. Об этом пишет *Eric J. Hobsbawm, Les primitifs de la révolte dans l'Europe moderne. Paris, 1966, pp. 175–176.*
48. См. C. Castoriadis, *Devant la guerre. Les realites. Paris, 1981, p. 232*, E. Morin, *De la nature de l'URSS. Paris, 1983, p. 63*; L. Bod, *Langage et pouvoir politique, Etudes, February 1975.*
49. *Devant la guerre. Les realites. Paris, 1981, p. 226.*
50. О массовой культуре я говорил в докладе на семинаре о национальной независимости и новом интернационализме, который был организован Социалистическим исследовательским институтом в Париже в 1982 г.
51. Я оставляю в стороне вопрос, воплощены ли ленинские идеи о культуре и печати в бюрократической массовой культуре современности. Я считаю вину Ленина в этом отношении очень большой.